Феликс Лев

Пять дней из жизни черепахи

Д

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Рассказы о черепахе, о бабочках, о зубробизоне, о приключениях сёмги. В «Лесной грамоте» автор рассказывает о жизни леса.

Для младшего школьного возраста.

Художник Михаил Николаевич Ромадин.

- Феликс Григорьевич Лев
  - ○
  - ○
  - ○ Пять дней из жизни черепахи
    - ■
    - ■ Первый день
    - ■ Второй день
    - ■ Третий день
    - ■ Четвёртый день
    - ■ Пятый день
  - ○ Потому что они красивые
  - ○ Лесная грамота
    - ■ Про кого это?
    - ■ Лесная грамота
    - ■ Дёр! Дёр! Дёр!
    - ■ Пчёлы отроились
    - ■ Лесосека
    - ■ Заблудились
    - ■ На покосе
    - ■ Лесной вредитель
    - ■ Ондатра
    - ■ Подарок
  - ○ Рум. История зубробизона
    - ■ 1
    - ■ 2
    - ■ 3
    - ■ 4
    - ■ 5
    - ■ 6
    - ■ 7
  - ○ Сказание о семге
    - ■
    - ■ 1
    - ■ 2
    - ■ 3

        - 4
        - 5
        - 6
        - 7
    -
- notes
    - 1

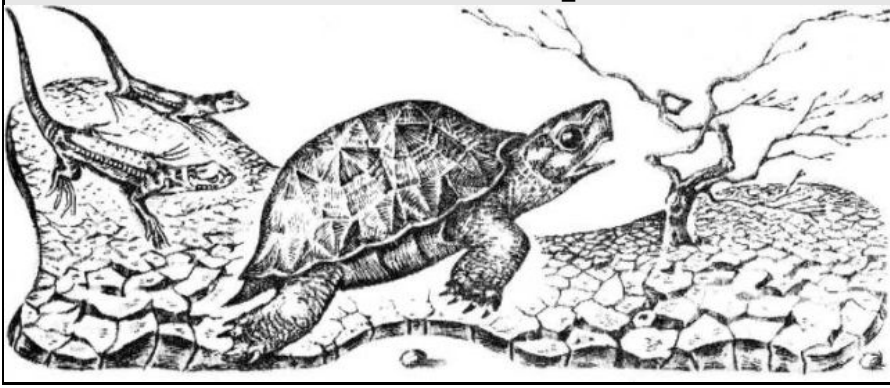
Феликс Григорьевич Лев
Пять дней из жизни черепахи (сборник)

В этой книге ты прочтёшь не только о черепахе, но и о других животных. Все мы живём на земле, как в большом общем доме — рядом с бабочками, растениями, зверями, рыбами. Но всегда ли мы к ним внимательны, к нашим друзьям и соседям по дому? А ведь они чувствуют, дышат, волнуются…

Напиши нам, понравилась ли тебе эта книга. Отзывы присылай по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43, Дом детской книги.

Художник М. Ромадин
© Издательство «Детская литература», 1974

Пять дней из жизни черепахи



Одного человека, большого, звали Фёдор Григорьевич, другого, маленького, — Серёжа, и вообще у всех людей в этом доме, и в соседних домах, и в дальних, конечно, тоже — у каждого было своё имя. Только у черепахи, которая жила среди этих людей вот уже целых пять дней, до сих пор не было даже клички — просто черепаха.

Что это были за пять дней? И что было с нею раньше, до этого, что станет потом?

Ах, что это были за пять дней! Лучше бы ей, наверно, не вспоминать и не думать. Впрочем, кто знает — о чём она думала…

Просто черепаха могла очень долго ничего не есть и не пить, а лежать без движения, втянув ноги и голову под свой костяной панцирь. Когда делаешь вид, что ни в чём не нуждаешься, и лежишь неподвижно и молча, окружающие постепенно теряют к тебе интерес и, наконец, оставляют в покое. Этого, вероятно, ей сейчас и хотелось, утром шестого дня, в маленьком дощатом загончике, сделанном для того, чтобы она никуда не убежала, но при этом могла в нём гулять. Загончик этот был поставлен среди зелёной травы и жёлтых одуванчиков возле крыльца.

Оглядевшись и убедившись, что поблизости никого нет, черепаха выдвинула, сколько могла, почти выпрямила кривоватые маленькие ножки и на этих четырёх кривулях заковыляла с неожиданной ловкостью, обошла загончик изнутри. Кругом были стены, слишком высокие для неё. Тогда, став на задние лапы, она принялась коготками передних царапать по шершавой доске, стараясь выкарабкаться отсюда. Тянула вверх старушечью головку на тонкой жилистой шее, вытягивалась чуть ли не в струнку — так хотелось ей на свободу, на волю!

«Мал-ла-коо!.. Укро-оп-мал-ла-коо!..» — раздался

пронзительный хриплый голос. И внезапно умолк.

Стукнула калитка, звякнула кружка, привязанная верёвочкой к бидону, и кто-то протопал сапогами мимо ящика с черепахой.

Может быть, черепаха не слышала. А может, привыкла уже к голосам и внезапному шуму и никак не отвечала на них. Она продолжала начатое дело. Конечно, слов черепаха не понимала. Но запах парного молока ей понравился. Она ещё проворнее заскребла, заработала коготками.

— Вот тебе молоко, пей, пожалуйста, — спустя недолгое время сказал Серёжа, ставя посреди загончика блюдце, полное до краёв. — Оно вкусное, а пенки я уже выбросил… Пей, черепаха, — позвал он опять и дотронулся пальцем до прохладного панциря.

Черепаха испуганно втянула голову и снова замерла. У неё было много времени — было когда и подумать и вспомнить…

Первый день

Некоторые люди утверждали, что животные вообще думать не умеют. Тем более черепаха, у которой мозгов-то всего ничего — с булавочную головку.

И всё же другие люди не уверены в этом. А разные сочинители рассказывают истории, в которых птицы и звери ничуть не глупей человека, и есть среди них даже умные черепахи. Вот, например, старая мудрая Тортила или маленький Мак, свергнувший с трона черепашьего короля!..

Но может быть, они только в сказках такие? А что про это сказали бы сами животные? К сожалению, этого не знает никто. Ведь животные по-человечьи говорить не умеют. А мы, люди, не понимаем их язык. И это печально.

Наша черепаха никогда не была слишком мудрой и всю жизнь вела себя незаметно и тихо, очень тихо. Даже прежде в том южном краю, где она появилась на свет, черепаха никого своей жизнью не утруждала, не беспокоила, разве что как добыча. Ведь бывало не раз, распластавшись в пустом, как жестянка, бесцветном небе, высмотрит одинокий орёл-могильник тёмную точку на голом песке и камнем бросится вниз — тогда уж, считай, всё кончено для кого-то из ближних её собратьев… И ещё немало кому запах степной черепахи щекотал чуткие ноздри — желтоглазой волчице с выводком, маленькой, вечно голодной лисичке-корсак, даже ящерицам-варанам, у которых толчками раздуваются, дышат бока, как будто эти вараны чем-то всегда взволнованы.

Что уж там вспоминать первые годы жизни, когда черепаший панцирь ещё не окреп и разгрызть его — не труднее, пожалуй, чем яичную скорлупу!..

Впрочем, и в скорлупе успевает прожить черепашка несколько месяцев, прежде чем из яйца, зарытого матерью-черепахой в песок, вылупится беззащитное, полуслепое создание.

Солнце греет песок. Песок согревает яйцо. Созревает в яйце комочек живого и выходит на свет… Нет, ещё не на свет: вылупившись, черепашка даже носа не смеет показать на поверхность и долго, быть может целую вечность, лежит неподвижно под толстым слоем песка.

Что за ножки у неё тогда были — четыре дрожащие скрюченные запятые!.. Что за панцирь — скорлупка расколотого пополам грецкого ореха!.. Она никогда не видела матери, и некому было ей сказать, что ей делать, но она словно откуда-то знала о подстерегавшей её жуткой опасности: стать добычей того,

кто её раскопает — варана, лисицы или даже обыкновенной вороны…

Но тогда она так и не стала ни для кого добычей — повезло…

И всё это было так давно, что сыпучий песок успел уже кое-где порасти красноватыми прутиками тамариска, а тамариск растёт медленно; и на старом, костлявом саксауле, казалось окончательно мёртвом, вдруг опять появлялись зелёные пятнышки-почки — так было не раз; и не раз уже пронзительные зимние ветры сменяли летнее пекло, а на зиму черепаха скрывалась в нору, спала; уже не один раз она просыпалась, когда неутомимое солнце вспоминало своё главное дело — жечь эту землю негнущимися лучами. Так давно начиналось всё это, что она и не помнит, когда…

Запах белой полыни нежен, а вкус горек — это так и есть. И не всё, что хорошо и приятно сейчас, хорошо всегда — и это так и есть. Черепаха никогда не пробовала узнавать — «почему?», не протестовала, если что-либо ей не нравилось в этом мире, — она всё принимала как есть…

Так было всегда, так было и в тот день, обычнейший в её жизни.

Утром солнце в короткое время разогнало накопившуюся за ночь прохладу, и черепаха паслась, отыскивая в низинах съедобную травку и продвигаясь от одного чахлого кустика к другому.

Полдень застал её за этим занятием, и она хотела выкопать подходящую нору, чтобы скрыться в ней от зноя. Но тут подвернулась готовая норка длиннохвостого хомячка-песчанки, и черепаха протиснулась в неё. А так как песчанка устраивает несколько входов и выходов из квартиры, то они не мешали друг другу.

Медленно тянутся жаркие дни пустыни. Черепаха привыкла к дневной духоте и прохладным ночам, к твёрдым, изрезанным острыми трещинами глиняным такырам, к странному дереву саксаулу, которое не даёт тени, потому что листья его боятся раскрыться и так и остаются почками. Она привыкла к песчанкам, которые для того только, кажется, и выныривают жёлтыми столбиками из своих норок-укрытий, чтобы радостно пискнуть: «Я жив!», услышать в ответ: «Я жива!» — и юркнуть обратно.

Когда зной спадает, маленькие серо-голубые ящерки-агамы спускаются с ветвей тамариска и пробуют лапкой песок, чтобы не обжечься. Тут, внизу, их давно поджидает полосатый варан. Он бросается на ящерок, потому что проголодался за день, а те стремглав разбегаются, но не все успевают…

К вечеру, выбравшись из норы на поверхность, черепаха

заметила невдалеке жука-чернотелку, взбиравшегося по склону бархана. Эти жуки — ночная добыча ушастых ежей. Черепаха понапрасну не тратила на жука внимания: он был ей не нужен. Другое зрелище пленило её: возле большого куста возвышался привязанный за уздечку верблюд и задумчиво жевал сухую колючку. Колючка, как видно, пришлась верблюду по вкусу, и ему не хотелось проглатывать её. Он жевал и внимательным глазом косил вниз. Черепаха замерла, но головы не втянула. Это животное рядом с ней было таким огромным, что бояться его просто не было смысла, как бояться горы, земли или неба. Она не сводила с него чёрных, как у мыши, блестящих бусинок. Что-то в нём притягивало её.

Человек, ловец черепах, подошёл, наклонился и сунул черепаху в мешок. Она провалилась куда-то в душную темноту, стукнулась обо что-то панцирем, должно быть, о другие панцири. Всё прежнее кончилось.

Второй день

Так черепаха познакомилась с человеком. И пошла раскручиваться новая жизнь, в которой для неё многое было непонятно и страшно…

Для чего вообще ловят черепах?

А для чего всех других — крокодилов, медведей, моржей, попугаев?

Ну, этих всех не так много надо: главное — для зоопарков. В самом деле, кому это вздумается — держать в квартире кабана или рысь? Да этот чудак человек света белого не взвидит!..

А что? Было недавно: по телефону звонит в зоопарк гражданка и умоляет: «Даром отдам, забирайте!.. Я, — говорит, — ему ничего плохого не делала, мясом из магазина кормила, а он…» — «Кого забирать-то?..» — «Разбойника этого… орла…»

Оказывается, знакомый охотник подарил… Ну и птичка, скажу вам! Кошку хозяйкину чуть не заклевала; мясо на книжный шкаф утащила, рвёт, кричит — не подходи! Потом принялась скакать по квартире — всё расшвыривает, всюду гадит. А выпустить — не летит, крылья подрезаны…

Разве можно с кем-нибудь из диких животных сравнить черепаху?! Она способна неделями обходиться без пищи, мебели не царапает, не скулит, не кусается… А всё-таки в доме живое существо — дети так рады бывают!..

Весной, когда степь оживает и упругие соки распрямляют стебли травы, черепахи, почувствовав всеобщее пробуждение природы, медленно, словно ещё не проснувшись, появляются из своих зимовочных нор и, голодные, слабые, сотнями сползаются на ближние пастбища. Тогда-то в степь — на грузовике, на верблюде, на лошади — выезжают ловцы черепах и за какой-нибудь час или два собирают их множество, а затем везут в город на сдачу.

Человек, заметивший черепаху и сунувший её в свой мешок, был лесник Ивакин. Он жил с семьёй в домике на краю пустыни и каждую весну сеял здесь семена выносливых трав, кустов и деревьев. Чтобы те, вырастая, не позволяли мёртвым пескам продвигаться и захватывать полезную землю. Вот и сейчас через спину его верблюда был перекинут мешок с семенами, а другой, с черепахами, держал он в руке.

Ловить черепах было дело простое. За каждую полагалось на зоологической базе, куда он возил их сдавать, копеек пятнадцать — не помешают. Деньги он тут же в городе и тратил — на необходимые покупки для дома и гостинец для дочки. И значит,

это было дело хорошее и полезное всем. Жаль только, продолжалось недолго — неделю, а может, две: остальное время в году черепах не брали и ничего за них не платили.

Что касается самих черепах, то Ивакин не задумывался — каково им сейчас? Чего о них думать… Если они и различались чем-либо, так только тем, что за одних черепах, которые побольше, и платили на две-три копейки больше, а за маленьких платили поменьше.

На другой день, прежде чем направиться на базу, Ивакин с утра набрал ещё полмешка черепах, зашёл по дороге домой и выпил две чашки-пиалы прохладного зелёного чаю. Чай этот был приятен в жару, хорошо утолял жажду, и пить его надо было не торопясь, чтобы насладиться.

Серый мешок горбатился у входа.

Пока отец отдыхал и пил чай, девочка прыгала рядом то на одной, то на другой ножке, и косички её вздрагивали при этом, словно непослушные пружинки. Она заметила, что мешок на полу шевелится, и хотела в него заглянуть. Но отец ей не позволил. Девочка отвернулась, обиделась. Тогда он сам развязал мешок, нашарил в нём черепаху и протянул дочке, хотя не понимал, для чего она ей.

Но девочка, видно, знала это заранее. Она ловко запеленала черепаху в пёстрый лоскуток, будто куклу, и стала баюкать. Впрочем, ей скоро это наскучило, а может, черепаха не слишком годилась для куклы: лежать спокойно она не хотела и то и дело выкарабкивалась из пелёнок.

Тогда девочка решила попасти её возле дома.

Это была та самая черепаха, за судьбою которой мы взялись следить.

Очутившись впервые в душном и пыльном мешке, она немедленно сжалась, ожидая всяких других неприятностей. Но так как ничего нового не происходило, то, придя в себя, она предприняла разведку: ощупала всё вокруг, пыталась куда-то пробраться, скользя ногами и всё более зарываясь в тесноту между других тел, — отыскать бы выход отсюда! Но лишь убедилась в безнадёжности всяких попыток — приходилось терпеть.

Оказавшись теперь в руке у девочки, она снова принялась шарить лапками, отыскивая опору. Ведь этой руки, охватившей её за панцирь, она не чувствовала и висела как бы ни на чём, в пустоте. А когда девочка опустила её на траву, сразу будто забыла про всё.

Очень хотелось есть. Черепаха лишь недавно проснулась после долгой зимней голодовки и ещё не успела нагуляться.

Вместо того чтобы броситься удирать, она отыскала поблизости съедобную траву и с удовольствием принялась за неё.

Вскоре девочку окликнула мать, и черепаха осталась одна. Почувствовав, что за ней не следят, она поскорее доела травинку и заковыляла к другой. Но другую есть почему-то не стала, а, постояв в нерешительности, прошла мимо. И так поковыляла, поковыляла куда-то на своих кривоватых коротышках, наверно, могла бы вовсе уйти, если бы не препятствие: огромная лужа грязи. Такие лужи долго не просыхают после дождей в глинистых тамошних местах. В иное время черепаха вела бы себя осторожней: повернула обратно, в крайнем случае обошла бы липкую грязь стороной. Мокрые глины-такыры смертельно опасны для этих животных: черепахи с трудом передвигаются по вязкому грунту и, обессилев, прилипают к нему костяным брюхом, щитком. Но сейчас черепаха была слишком взволнована, чтобы заранее это предусмотреть, и она, разумеется, прилипла…

Верблюд, привязанный к изгороди, переминался на широких расшлёпанных копытах и едва не наступил на неё. На этот раз лесник Ивакин, который вчера её поймал, оказался её спасителем…

Покончив с чаем, Ивакин вышел из дома и случайно заметил возле изгороди черепаху, о которой успел позабыть. Она всё ещё тужилась выбраться из липкой грязи, но ей это плохо удавалось, и конец её, видно, был недалёк. Заметив черепаху, Ивакин, однако, не испытал к ней никакой жалости, уж скорее досаду на дочку: он ловил, а она выпускает. Но промолчал, просто поднял черепаху, обтёр ладонью и снова сунул в мешок. Что чувствовала при этом черепаха — сказать трудно. Скорее всего, догадывалась, что находится в полной зависимости от этого существа — не черепахи, а человека, — которое может всё.

Теперь ей оставалось только одно: ждать, что будет. И она постаралась снова забиться поглубже в мешок, в тесноту.

На базе Ивакин поштучно сдал свой товар, чтобы никогда больше его не увидеть.

Черепах переложили в фанерный посылочный ящик — плотно, одну к другой, сверху казалось, будто набили булыжники в мостовую. Ящик закрыли и приготовили для погрузки в самолёт, чтобы отправить в другой, далёкий город, где черепахи не водятся.

Третий день

Третий день проходил как в необыкновенном сне. Хотя, как известно, обыкновенных снов вообще не бывает. Впрочем, всё началось наяву…

Трах-бах!.. — что-то грохнуло совсем рядом (это стали заколачивать ящик). Черепаха сжалась под панцирем как только могла. Трах-бах… — всё вокруг грохотало, стучало. Черепаха вздрагивала при каждом ударе. Вдруг земля покачнулась, будто провалилась куда-то (ящик перевернули вверх дном)

Что это делают с ней? Что делают?!

«Прощайте, жёлтые пески и зелёная трава!» — могла бы, наверно, уже не раз подумать черепаха.

«Прощай, прекрасное солнце в небесах!..»

«Прощай, зима и лето!..»

«Прощай, тишина!..»

«Прощайте, все-все черепахи!»

Нет, вероятно, она не подумала так: черепахи не думают так, как люди.

Внезапно стук прекратился, и в ящик проник луч света. Он был ослепительно яркий, и в нём плясали пылинки. Черепаха отчаянно заработала всеми конечностями, чтобы пробиться к нему. Но луч вдруг погас. Это было последнее, что черепаха успела действительно увидеть, погружаясь в настоящий сон. (Ящики были уже в самолёте, один за другим, и воздуха оставалось ещё меньше. А рокот моторов так убаюкивал!)

Черепахе приснилось, что она вдруг стала расти. Нет, она вовсе не превращалась в какое-нибудь другое существо. Живя всю жизнь черепахой, она даже во сне не могла бы почувствовать себя кем-то другим. У неё был свой панцирь — сверху вниз, со всех сторон, а в нём, внутри, под защитой, пряталась маленькая, но вполне для неё хорошенькая головка, и четыре подходящих ноги, и совсем коротенький хвост — в точности такой, как ей надо, и всё остальное, что полагается черепахе. А всё, что снаружи, — это была уже не она, а тот мир, которого она не понимала теперь и боялась. И вот она стала внезапно расти, оставаясь по-прежнему черепахой, но постепенно заполняя собою всё. Сначала это выглядело заманчиво: теперь ей никто не опасен, не страшен. А между тем она продолжала безостановочно увеличиваться и уже превосходила величиной любую из степных черепах. Она превращалась в гигантскую черепаху. Ей уже не хватало ни места, ни воздуха для дыхания, и всё ей мешало. Она словно очутилась в бесконечной трубе, с трудом протискиваясь сквозь неё, и надо

было спешить.

Внутри черепахи что-то тяжело поднималось, а затем вдруг обрушивалось — ух-бух, бух!.. ух-бух, бух!.. Это было сердце.

Как трудно было ему, такому огромному!..

И до чего же прекрасно было когда-то — жить в степи обыкновенной степной черепашкой?..

Трах-бах!.. — ящик снова взломали, и она очнулась такой же обыкновенной и маленькой, как когда-то.

Хотя и стараются люди облегчить пойманным черепахам их участь, это не вполне удаётся. Чем трястись по железной дороге в багажном вагоне, многие сутки испытывая голод, жажду и духоту, не лучше ли перетерпеть в самолёте всего час или два? Но люди будто забыли, что черепахи не привычны к таким скоростям, к внезапным воздушным ямам, к рёву моторов. И вот что случилось: несколько черепах так и остались неподвижными в ящике после того, как снова получили возможность двигаться, — неподвижными навсегда. Впрочем, и остальные лишь очень медленно, словно не веря в предоставленную свободу, начинали одна за другой вытягивать из-под панцирей кто ногу, кто голову. Вместо здоровых черепах — какие-то вялые полуживые существа!.. Но люди — теперь это были работники зоомагазина, продавцы в синих халатах, — люди не ждали, пока те придут в себя, и принялись перекладывать черепах в другой ящик, просторный, со стеклянными стенками — террариум. Привычным движением они брали каждую черепаху в руки, осматривали с разных сторон и опускали в стеклянный ящик, где громоздились картонные горы и скалы, призванные отныне заменять черепахам настоящие горы и скалы.

Черепахи побольше осваивались медленнее, а самые маленькие были бойчее, подвижнее.

Наша черепашка сразу же принялась карабкаться вверх по картонной скале и, только уткнувшись во что-то странное — прозрачное, но не пускавшее, твёрдое (это было стекло), — вынуждена была повернуть и затем продолжала двигаться уже вдоль стекла.

По дороге она вскарабкалась на другую, неподвижную черепаху, спустилась с неё, как с горы, повернула и поползла вдоль другого стекла — и так вокруг всего ящика, не останавливаясь. Ведь если всё время ползти, то куда-нибудь да выйдешь…

Когда в террариуме черепах набралось порядочно, продавцы в синих халатах вынесли ящик из двери с табличкой «Служебное помещение» и поставили возле прилавка на тумбочку. Тут же

стала выстраиваться очередь: «Кто последний за черепахами?..» Люди, которые оказались поблизости: инженер, врач, шофёр, рабочие со строительства дома забежали в обеденный перерыв… Всем, оказывается, были нужны черепахи.

Человек, по имени Фёдор Григорьевич, тоже стал в эту очередь, заплатил в кассу рубль и теперь ожидал. Он выбрал глазами, пока стоял, черепашку поменьше — на ладони уместится — и, когда подошла его очередь, сразу её попросил. Продавец наколол чек на гвоздик, достал черепаху и обтёр влажной тряпкой, будто пыльную вещь. Черепаха заблестела как новенькая.

Четвёртый день

Фёдор Григорьевич вытащил черепаху из кармана пиджака, поглядел на неё и положил на пол. Для чего ему, серьёзному, взрослому человеку, нужна была черепаха?

Фёдор Григорьевич работал на одной очень умной машине. Машина называлась Большой Вычислительной. Вычислительной — потому что она умела решать задачи, считать, вычислять. Например, могла высчитать расстояние от Земли до Луны или даже до Солнца.

А Большой называлась она потому, что и в самом деле занимала всю стену зала — как огромный железный шкаф.

Снаружи шкафа виднелось множество стрелочек, ручек и разноцветных глазков, загадочно подмигивавших. А внутри Машины… Внутри её железного брюха что-то звякало, щёлкало. Там была путаница проводов, много винтиков, лампочек…

Для кого — непонятная путаница, а уж Фёдору-то Григорьевичу здесь всё было понятно. Недаром он был инженером. К концу дня Фёдор Григорьевич поглаживал гудящее брюхо Машины и ласково приговаривал:

— Вон как за день перетрудилась, нагрелась!.. Ну, теперь отдохни… — Он поворачивал какую-то ручку, и Машина в ответ замолкала.

Действительно, это была необыкновенная машина. Наверно, Фёдор Григорьевич считал, что она гораздо умнее любой черепахи: ведь черепаха не умела ни складывать, ни вычитать. А Машина даже играла в шахматы. Правда, рук у Машины не было, передвигать фигуры она не могла, зато печатала на длинной бумажной ленте буквы и цифры: вот как нужно ходить, чтобы выиграть. И нередко выигрывала у человека. Человек ошибался — он был живой. А Машина из металла и разных пластмасс. У неё и нервов-то не было. А ведь это необходимо, чтобы не делать ошибок, — всегда оставаться спокойным, не нервничать…

Для чего же понадобилась Фёдору Григорьевичу черепаха? Он купил её сыну Серёже в подарок.

Дело в том, что зимой в городе Серёжа часто болел. И поэтому решено было отправить его летом на дачу, где он должен был отдохнуть и набраться сил.

Сперва всё на даче казалось Серёже таким замечательным. Здесь был лес, и в лесу грибы; была речка, и за ней большой луг, на котором паслись коровы; был огород возле дома, и были куры, которым очень хотелось клевать помидоры на грядках, но забор не пускал их туда. Ничего этого в городе не было. Но коровы

паслись далеко, в лес Серёжу одного не пускали, ну а куры… да разве с курами может быть интересно?! И вскоре Серёжа заскучал. «Надо что-нибудь для Серёжи придумать, — озабоченно вспоминал среди дня Фёдор Григорьевич. — Ведь когда человеку скучно, он не отдохнёт хорошо…» Ничего не придумывалось… И тут подвернулась черепаха.

Честно говоря, Фёдор Григорьевич вовсе не был уверен, что купил то, что нужно. Черепаху, как известно, не выучить ничему — ни становиться на задние лапки, ни узнавать хозяина, ни вилять благодарно хвостом — этакое неразумное создание!.. Рассказывают, правда, будто рыбаки с далёких Галапагосских островов наловчились впрягать морских черепах в свои лодки. Да ведь много ли надо на это ума — тащить по воде тяжёлую лодку?! Всё равно моторка её перегонит. К тому же те черепахи куда больше наших степных, наверно, и голова у них больше… Живёт себе не спеша маленькая костяная рубашка, глядит на мир подслеповатыми глазками, и кто знает, что у неё на уме…

Черепаха лежала на полу. Машина решала какую-то ответственную задачу и важно гудела. Пол был из пластика, к тому же недавно покрашен. Фёдор Григорьевич не чувствовал запаха краски, потому что он был человеком и ходил на высоких ногах. А черепашка на четвереньках была совсем низенькой, и её настораживал этот резкий запах. Всё же она на минуту высунула головку, но затем убрала её снова под панцирь. Может, испугалась Машины?

— Глупая ты, преглупая черепаха, — сказал ей Фёдор Григорьевич. — Разве Машина тебя тронет?!

Черепаха будто послушала его, осторожно высунулась из-под своей костяной защиты и направилась к Машине. Впрочем, она, конечно, не знала, что это за Машина. Просто, заметив тёмный угол под ней, решила скрыться туда, как в нору.

— По углам не прятаться, — усмехнулся с высоты своего роста Фёдор Григорьевич и подставил на пути черепахи блестящий ботинок. Потом достал булку и покрошил на газету.

Может, черепаха и обрадовалась бы этой еде, но она никогда не пробовала булок. И она продолжала отсиживаться под панцирем: всё же надёжнее.

— Что ж, ничего другого предложить не могу. Пожалуйста, извини, — насмешливо произнёс Фёдор Григорьевич, зная, что черепаха всё равно не поймёт его слов и не сможет его извинить или не извинить.

Он подошёл к Машине, а черепаха полежала ещё какое-то время неподвижно. Но затем любопытство всё же взяло в ней верх, и она предприняла путешествие по всему залу. Земля, то

есть пол, покрытый листами пластика, по которому ей теперь приходилось ползти, эта «земля» была совсем не похожа на обычную: голая, такая гладкая, что коготки черепахи скользили по ней, с трудом зацепляясь. К тому же здесь было совершенно пустынно: ни травинки, ни кустика. Убедившись в этом, черепаха в конце концов забилась в дальний угол.

— На сегодня достаточно, — объявил Фёдор Григорьевич, выключая Машину. — А куда покупка девалась?

Он извлёк черепаху из-под Машины, положил в портфель и поехал на дачу, к Серёже.

Фёдор Григорьевич никогда не думал, что Серёжа может так обрадоваться черепахе. Обычно по вечерам сын расспрашивал его о работе — чем занималась Машина, становится ли она ещё умнее, чем прежде? Но сегодня Серёжа был поглощён черепахой: «Какие у неё дырочки-ноздри! Как будто проткнуты иголочкой!.. А уши где у неё? Смотрите, смотрите, она уже ест!»

Черепаха и правда принялась за капустный лист, положенный для неё на крылечке. После всех передряг и волнений, пережитых за последние дни, она впервые почувствовала, что люди, среди которых она теперь оказалась, вовсе не желают ей зла. И произошло это благодаря маленькому человеку Серёже.

Известно, что животные вполне доверяют, пожалуй, лишь детям. Некоторые истории, которые могли бы нам показаться не слишком правдоподобными, тем не менее никем не оспоренные, передаваемые из поколения в поколение, убеждают нас в этом. Например, легенда о дикой волчице, вскормившей своим молоком ребёнка, или рассказ о дружбе юного итальянца с дельфином, возившим мальчика по морскому заливу. Может быть, дружба нашей черепахи с Серёжей тоже когда-нибудь станет такой историей?

Сперва черепаха наступила на лист капусты передней лапой и, мотнув головой, оторвала от большого листа кусочек, проглотила его. А затем стала брать у Серёжи из руки, не боясь.

На ночь принесли черепаху в комнату. И она цокала коготками по дощатому полу, шуршала газетой.

Когда все на даче крепко спали, черепаха доела капустный лист. Она была не голодной, но почему-то ей не спалось.

В ночной темноте черепаха чувствовала себя в безопасности, ей наконец-то никто не мешал. Она с удивлением обнаружила, что «земля» здесь была сделана, по-видимому, из того, что некогда было растущим деревом — с корнями, листьями, ветками. От этого живого зелёного дерева сохранился лишь слабый смолистый запах, пробивавшийся из свежеструганых, не

успевших высохнуть досок в тех местах, где были сучки. Такое открытие неприятно подействовало на черепаху, и она ещё энергичнее продолжала свои однообразные поиски среди железных кроватных ножек, под стульями и столом, под диваном, где от лёгкого вздоха катались пухлые шарики пыли, словно живые. Скоро ли всё это кончится и начнётся всё прежнее?

Под утро черепаха приткнулась в углу и затихла. Где она, её пустынная солончаковая родина, нестерпимый жар солнца, травка-полынка? Куда всё это девалось?

Пятый день

Много хитроумных машин придумал человек себе в помощь. Но разве среди них есть такая, с которой можно дружить? Даже самая «умная» — всего лишь бесчувственная машина, и ей всё равно, кто с ней рядом. Другом может быть только живое существо, которое чувствует, к которому привыкаешь.

Привыкаешь, и с ним хорошо.

Но часто ли мы себя спрашиваем, а каково им с нами, нашим четвероногим друзьям?!

Наступил пятый день.

В этот день происходило вот что.

Раньше всех на даче проснулся Фёдор Григорьевич. Но почему-то не стал искать черепаху, даже не вспомнил о ней: он торопился к себе на работу.

Просыпались люди и в других домах тоже, говорили «доброе утро», называли друг друга по имени, спешили по каким-то важным делам — никто не думал о черепахе.

Проснулся маленький человек Серёжа. Убедившись, что черепахи с ним нет и что её нет на том месте, где он оставил её вчера, Серёжа вскочил с постели и разыскал её. А разыскав, взял с собою в постель. Он уже так привык к своей черепахе, что не хотел её от себя отпускать, и сейчас собирался с ней поиграть.

Снова, как когда-то в мешке, она пробиралась, не видя куда (укрытая одеялом), тянула шею и шарила в воздухе лапами (карабкаясь из мальчиковой руки), скрывалась под панцирь («Как будто танк», — думал Серёжа) Откуда ей было знать, что всё то, что делал Серёжа, он делал для неё, чтобы ей было интереснее жить!..

Серёжа завтракал за столом, а черепаха лежала на табуретке, чтобы он мог её видеть. Приблизившись к краю, она едва не свалилась, но Серёжина бабушка удержала её.

Поскорее позавтракав, Серёжа вынес черепаху попастись на лужайке. Свежий лист подорожника, как видно, понравился ей. А тут и солнце пригрело, и вообще день обещал быть безоблачным, ласковым, погожим. Нет, жить на свете было совсем не плохо!..

Пришла соседская кошка — она частенько наведывалась к Серёже в надежде на что-нибудь вкусненькое, — и Серёжа решил познакомить её с черепахой. Но черепаха не захотела знакомиться: ушла под свой панцирь и не показывалась. Кошка в свою очередь, обнюхав её (не мышь ли это?), брезгливо тряхнула лапкой, отвернулась и убежала.

Серёжа отнёс черепаху на грядку. Тут она пробиралась,

словно маленький вездеход, по ухабам и прямо с грядки ела зелёный лук — это было так интересно!

Вообще иметь даже просто черепаху, оказывается, было очень, очень интересно! Вот только приходилось гулять с ней. А Серёже немножко уже надоело. Он хотел и побегать по улице, и нарисовать на большом листе бумаги настоящий воздушный бой, а ещё — десант: парашютисты выпрыгивают из самолётов, и над каждым из них раскрывается парашют… «Пусть она гуляет сама», — подумал Серёжа и побежал к дому…

Всё-таки это, наверно, неправда — то, что черепахи не думают. Они думают, только не так, как мы, люди, а по-своему, по-черепашьи.

Черепаха заметила, как убегал от неё Серёжа, но сначала она не поверила, что осталась на свободе. Что ж, если это действительно так, она будет есть вкусный лук, пока не наестся. А там опять за ней явится кто-то и потащит в комнату, в ящик или мешок — ей ведь не привыкать! И она с удовольствием ела сочную, приятно горчащую травку, которой не знала раньше. Пусть так, а больше сейчас она ни о чём не хотела думать.

Потом она стала есть эту травку с разбором, а не подряд: тонкие стебельки были гораздо нежнее.

Почувствовав себя достаточно сытой, черепаха стала спускаться с грядки, но, не удержавшись на крутизне, кубарем покатилась в овражек. И тут оказалась лежащей на спине, на выпуклом панцире.

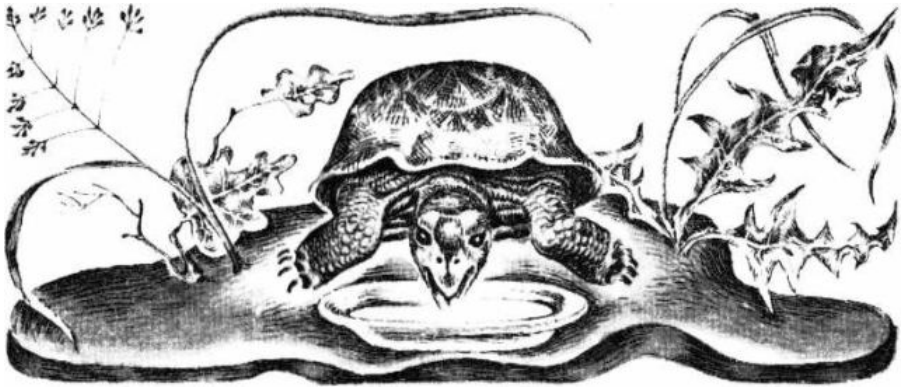
Это ужасно для любой черепахи — оказаться в таком положении на голой земле. Она становится совершенно беспомощной, и, сколько ни дрыгает в воздухе лапами, ей не перевернуться самой. Значит, всё кончено и она должна умереть? Сколько раз именно так и случалось с черепахами!..

Вот когда было необходимо, чтобы кто-нибудь пришёл к ней на помощь, — Серёжа или Фёдор Григорьевич.

Но рядом никого не было.

Черепаха всё же надеялась на какую-то невероятную удачу. Шарила во все стороны лапами, изворачивалась, зацепила сухую травинку и не отпускала её: только в этой травинке и могло быть её спасение. Ещё несколько энергичных движений, накренилась на бок, ещё — и наконец всё же стала на лапы. Как ни в чём не бывало снова отправилась в путь, неуклюже заковыляла. Куда? Да

разве сама она знала? Куда-нибудь! Ведь когда-то жила она без людей, проживёт и теперь… И зачем они ей?!



Когда Серёжа вернулся к луковой грядке, черепахи на ней не было.

Он искал её под широкими листьями лопуха, в траве, у дороги. Заглядывал под каждый куст, смотрел в канаве возле забора — её нигде не было.

Вернулся с работы Фёдор Григорьевич, и они продолжали поиски вместе.

Становилось прохладнее, солнце уже заходило за дальний зубчатый лес — черепахи всё не было.

Нашли её совершенно случайно: за огородом, в саду. Намотав на себя длинную траву, она спала в ней, будто в копёшке сена — её бы и не заметить, если бы Серёжа не споткнулся об эту копёшку.

Теперь он её ни за что не отпустит одну!

В сарае стояли ненужные старые доски, и в тот же вечер Фёдор Григорьевич с Серёжей сколотили из этих досок ящик без дна — загончик для черепахи: чтобы не убежала, но могла в нём гулять и жить. Поставили возле крыльца, среди зелёной травы и жёлтых одуванчиков. И она ночевала в нём эту ночь.

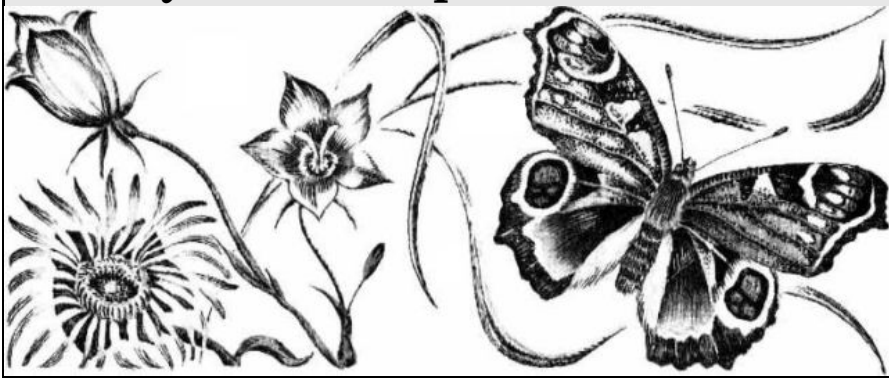
Снились ей нескончаемые поля нежной, сочной травы, снилось солнце, расплывшееся по всему небу, снились черепахи, черепахи, черепахи… Люди не снились, и вообще ничего плохого не снилось — всё только самое лучшее. Проснувшись утром шестого дня, она не могла сначала понять, где она очутилась. Но потом вспомнила всё, что произошло с ней за эти пять дней, и с ещё большей настойчивостью принялась выкарабкиваться на волю.

Но кругом были стены из досок, слишком высокие для неё. А там, дальше, кто-то ходил, кричал хриплым голосом: «Укро-оп-

мал-ла-коо!..», кто-то тяжело протопал возле ящика. Мальчик Серёжа заботливо принёс молоко и поставил блюдце в загончик: «Пей, черепаха…»

Ну чем ей было здесь плохо, среди людей, в этом ящике, в котором теперь предстояла ей долгая жизнь?! А?

Потому что они красивые



Кто не любит цветов — они такие красивые!

Вот нежные незабудки;

вот голубой колокольчик;

вот молодой одуванчик, похожий на золотистое солнце;

а это — львиный зев, похожий на пасть свирепого зверя, но совсем не страшный.

А что такое бабочки? Оказывается, это цветы, которые умеют летать! Я узнал об этом от мальчика Севы, когда мы с ним гуляли по лесу. Вдруг он заметил что-то интересное посреди поляны, остановился и подозвал меня шёпотом:

— Погляди: он цветок, а притворился, что бабочка. Какой хитрый!

— Зачем притворился? — спросил я как можно тише. Будто можно спугнуть цветок.

— Как ты не понимаешь: он же хочет, чтобы мы его не срывали!..

И мы не стали его трогать: пусть растёт!

Так часто бывает, цветы притворяются бабочками, а бабочки — цветами.

Мы думали, это бабочка, а оказалось — цветок. Думали, что цветок, а он вдруг вспорхнул и улетел… Только зелёная травинка качнулась — поклонилась вслед своему «живому цветку», будто с ним попрощалась.

— Наверно, бабочка спасалась здесь от какой-нибудь хищной птицы, — сказал Сева. — Ведь птицы цветов не клюют…

— Или она хотела познакомиться с мохнатой пчелой, которая пролетала мимо, — сказал я. — Пчела подумает, что это цветок и что он сладкий… И станет кружиться возле…

— А что дальше?

— И они познакомятся, будут летать вместе, будут дружить…

— Нет, — сказал Сева, — пчела собирает мёд, ей некогда. А бабочки просто летают.

— Вовсе не просто: у каждой из них спереди есть тонкая трубочка-хоботок, бывает, не толще волоса. Когда бабочка летит, она сворачивает хоботок, как пружинку в часах, чтобы не мешал. А когда опускается на цветок, вытягивает и пьёт через него сладкий сок-нектар. Как будто через соломинку.

— Значит, бабочки только мешают пчёлам?

— Ничего не мешают! — сказал я сердито. — Разве мало цветов на свете? Всем хватает! Бабочки, если хочешь знать, тоже переносят пыльцу — с одного цветка на другой. И от этого в цветах зарождаются семена. А из семян вырастают новые цветы…

— А почему ты рассердился? — спросил меня Сева, которому очень не нравилось, когда с ним так говорили. — Ты на меня рассердился?

— Нет, — сказал я, немного смутившись. Ведь я — взрослый, большой, а взрослым стыдно обижать тех, кто слабее и меньше. И я постарался загладить свою вину: — Просто мне показалось… я вдруг испугался… даже не знаю, как тебе это объяснить…

— Объясни так, как есть, — попросил Сева. — Я пойму…

— Хорошо.

И я рассказал ему об одном человеке, которого когда-то знал.

— Я вдруг вспомнил об этом человеке, об одном своём знакомом. Он тоже всегда про всё спрашивал, а вернее сказать, задавал вопросы: на каждый вопрос он заранее приготовил ответ. И считал эти ответы самыми правильными.

— Для чего же он спрашивал, если всё знал?

— Очень просто: он считал, что все люди должны думать точно так же, как он, не иначе. «Для чего нам нужны деревья?» — задавал он вопрос. И сам отвечал: «Чтобы делать из них дрова». — «А для чего нужны коровы?» — «Чтобы брать у них молоко».

Однажды он увидел бабочку и удивился: «Для чего нужны бабочки?» И не смог ничего ответить. Тогда он сказал: «Они летают ни для чего и только мешают мне отвечать на вопросы. Это значит, — произнёс он решительно, — что бабочки не нужны». И с тех пор перестал замечать их, будто бабочек вовсе не существовало на свете. Так же, как в своё время перестал замечать цветы…

— Прости, пожалуйста, — попросил я Севу, — но когда ты сказал, что бабочки только мешают пчёлам, я вдруг вспомнил этого человека. Это я на него, а не на тебя рассердился…

— Нет, я всегда понимал, почему нужны бабочки, — помолчав, сказал Сева. — Потому что они красивые…

Когда мне было пять лет, мне подарили сачок. Чтобы я мог ловить бабочек.

Вот поймаю, и будет у меня своя бабочка. Захочу — даже две или три. Посажу в стеклянную банку из-под варенья или в спичечную коробку…

Я гонялся за ней целый час, пыхтел и хлопал сачком изо всех сил по ромашкам и кашкам. Но она каждый раз успевала меня опередить. Она взлетала и садилась на другой цветок, будто играла со мной в пятнашки. А я не играл с ней и не шутил. Ведь у меня был настоящий сачок для ловли бабочек. А она была бабочкой. Я подкрадывался и хлопал по тому месту, где она только что опустилась. Но её здесь уже не оказывалось… Наконец-то мне удалось её поймать, когда она села на лист подорожника, от усталости вздрагивая крылышками, то раскрывая, то складывая их снова.

Мне повезло: я оказался выносливее. У меня были две сильные ноги, и я мог долго бегать. А она быстро выдохлась, то и дело садилась. И я — хоп! — накинул на неё сачок, а затем осторожно — не выпустить бы! — сунул руку под марлю и схватил её за крыло. Крепко, чтобы не вырвалась.

Это была бабочка-лимонница — кажется, так её называют: нежно-жёлтая, с тёмными пятнышками на крыльях. Я хотел получше её разглядеть. Но она так билась другим, свободным крылом, что пришлось поскорей запихнуть её в стеклянную банку и закрыть крышкой. Я отряхнул руки: на них оставалась пыльца с её крыльев. Ведь крылья бабочек на самом деле прозрачные, как из хрупкой слюды, и лишь сверху и снизу покрыты множеством цветных чешуек, каждая — тоньше тонкой пылинки: пыльцой. И когда бабочка побывала у меня в руках, то сразу поблёкла, будто цветок, который долго стоял без воды и завял. Одно крыло у неё потускнело (то самое, за которое я схватил её пальцами), другое — оставалось почти новеньким. И всё же она была теперь не такой, как прежде, Но сначала я этого не заметил. У меня была бабочка! Она сидела в банке не шелохнувшись. Захочу — никогда её отсюда не выпущу, захочу — пущу ненадолго по комнате.

Полдня я носился с банкой по дому, ко всем приставал, показывал: «Поглядите, это у меня моя бабочка! Моя собственная! Что, красивая?..»

И всем приходилось глядеть. А бабочка сидела в банке, уцепившись лапками за скользкую стеклянную стенку. Даже когда банку переворачивали или трясли, она оставалась неподвижной.

И я уже успел разглядеть, что у неё было шесть лапок. А крыльев на самом деле не два, а четыре: два спереди и два сзади. И два больших выпуклых глаза… И ещё усики, которые почему-то дрожали…

— Бабочка как бабочка. Только крылья у неё разные, — заметил дядя Костя.

— Бедняжка, она задохнётся под крышкой, — пожалела бабочку тётя Галя.

Но ведь без крышки она улетит!.. А что, если задохнётся? Нет, я не хотел, чтобы она задохнулась.

Я поставил банку с бабочкой на подоконник и чуть-чуть приоткрыл — она не пошевельнулась. Открыл совсем — не летит. «Вот глупая! Я тебя отпускаю!» Потрогал её травинкой. Наверно, она мне не верила.

И вдруг я почувствовал, что моя бабочка — вовсе не моя: я хотел, чтобы была красивая, а она вон какая; хочу, чтобы теперь полетела — не летит…

Грело солнце, муха ползала по окну и гудела.

— Очень тебя прошу: ну, лети! — сказал я, чуть не плача. Зачем я ловил её и сажал в эту дурацкую банку?! Может быть, она уже умерла? Если не задохнулась, так с горя…

Но тут, будто глотнув свежего воздуха, бабочка встрепенулась. Крылья её вздрогнули и… она полетела!

Она летела невысоко над землёй, всё ниже припадая на повреждённое крыло. Я мог бы легко её поймать и вернуть в стеклянную банку. Но я даже не подумал об этом. Я хотел одного — чтобы она летала, как прежде, летала и была красивой: «Ну, лети…» Но она, пролетев немного, опустилась на землю…

С тех пор я никогда не хватаю бабочек за крылья. Они этого не выносят. Свой сачок я тогда же забросил — не знаю куда. Он мне больше не нужен. Я просто люблю смотреть, как летают бабочки. Ведь они только тогда красивые, когда летают.

…Я стал читать всё, что мне попадалось про бабочек. И в одной толстой книге прочёл, что бабочки бывают вредными. Сперва я даже не поверил этому. Ведь такие красивые…

Оказывается, бывают… Только не сами бабочки, а их гусеницы, которые поедают плоды — яблоки, груши, сливы, — и капусту, и листья деревьев.

Но ведь все что-нибудь едят: зайцы — морковь и осиновую кору — лыко, коровы — траву и сено, волки — зайцев, а гусеницы — капусту, плоды, листья…

Всё так. Но иногда целые полчища гусениц нападают на сады, огороды, леса и всё на пути пожирают. Падают с яблонь червивые

яблоки, пустеют грядки, деревья посреди лета остаются без листьев, раздетыми. И наверно, было бы вовсе плохо и даже страшно, если бы не птицы, которые клюют, поедают этих зловредных гусениц.

Но если бы совсем не было гусениц, то не было бы и бабочек. Птицам жилось бы голодно. И цветам было бы скучно… Так что всё-таки это не только плохо — то, что гусеницы всё же есть. Это ещё и хорошо. Плохо, когда их становится чересчур много…

А бабочки? Разве бабочки едят капусту или груши и яблоки? Нет, они пьют цветочный сок. Чем же они виноваты?..

Если бы только мы умели спрашивать бабочек, то, наверно, спросили бы хоть одну из них, ну, например, вот эту — большого жёлтого махаона с чёрными пятнами: как он появился на свет? Что делал он в детстве, когда был совсем маленьким мотыльком?

И если бы эта бабочка могла говорить на понятном для нас языке, то она ответила бы, что никогда не была маленьким мотыльком, а всегда — большим махаоном, таким, как сейчас.

Это правда: бабочки не растут. Большие бабочки всю жизнь были большими, а маленькие мотыльки всю жизнь остаются маленькими мотыльками. Бабочка не помнит своего детства: ведь она вышла из куколки сразу взрослой бабочкой. А куколка — это не бабочка, а совсем другое. Куколка — это куколка…

Это будто очень маленькая неподвижная кукла, туго спелёнатая, завёрнутая в коричневое одеяльце. Один мальчик нашёл её осенью в лесу и подумал, что это просто гладкий сухой сучок. Интересный сучок!.. А это была куколка. Там, внутри… Что там было внутри, в одеяльце, — этого он не видел, не знал. Но всё-таки спрятал куколку в пустую спичечную коробку. И забыл про неё. Этот мальчик любил собирать разноцветные стёклышки, камушки, жёлуди…

Весной, когда всё кругом просыпается, что-то в коробке зашуршало, зашевелилось. Он открыл её, а оттуда вдруг вылетела… живая бабочка! А на донышке, вместо куколки, осталась одна только шкурка, совсем лёгкая.

Хорошо всё-таки, что мальчик не стал разматывать, снимать с куколки «одеяльце», а то ничего бы не вышло из неё, ничего не получилось…

— Бабочка-бабочка, что ты делала раньше, когда была куколкой?

— Не знаю, не помню. Ведь теперь я уже бабочка, а не куколка!

А ещё раньше куколка была гусеницей.

Гусеницы тоже бывают разные. Вот у этой столько ножек, что сразу, наверно, не сосчитать. И ещё — вон она какая мохнатая, прямо-таки шерстяная. Даже страшно притронуться. А гусенице только того и надо: ползает по деревьям и ест листья. Многие птицы боятся «шерстяных» гусениц и не трогают их. А вот кукушка не боится…

А у этой гусеницы ножек совсем немного — только спереди да на самом конце брюшка. Она сперва передними ножками с коготками уцепится за сучок, потом изогнётся дугой и задние, мягкие ножки подтянет ближе к передним. Уцепится задними, распрямится и снова хватается передними… Так и ползёт. Очень похоже на то, как меряют длину пядью большим и указательным пальцами. Поэтому гусеницу назвали пяденицей. Другое её название — землемер: ползёт, будто землю меряет.

Пяденица-землемер — не «шерстяная», а совсем голая, беззащитная. Любой может клюнуть: и скворец, и синица, и даже воробей. Страшно гусенице, замрёт — притворится, будто она вовсе не гусеница, а просто веточка: «Птицы веточек не клюют, не клюют!..»

А скворец или воробей внимательно поглядит: «А веточки листьев не едят, не едят!» — клюнет и съест. Только всех не склевать…

Пяденицы тоже объедают листья — у дуба, у берёзы, у осины и даже иголки у сосны. Как же гусенице быть иначе? Очень хочется ест. И ведь нужно расти, толстеть. Иначе она не может — ползает, ест, растёт. А придёт время — отыщет укромное местечко где-нибудь под корягой, или в щёлке коры, или среди травы и замрёт. Покроется плотной шкуркой-одеяльцем. И получится из гусеницы куколка.

А ещё раньше гусеница была крошечным, еле заметным яичком, которое в тихий солнечный день бабочка отложила на травинке, а может быть, и на дереве или даже на большом тёплом камне. Да, может быть, на камне, потому что ей было так хорошо в тот день, так радостно и легко, что она целый день только и делала, что порхала, совсем ненадолго присаживалась — то на землю, то на цветок, то на дерево, а то на тяжёлый и серый камень, который умеет лишь неподвижно лежать на одном месте и молчать.

Не одно, а тысячи таких яичек, с маковое зёрнышко величиной, откладывают бабочки там, где они садятся. Зачем же так много? А вот зачем: часть яичек найдут и склюют птицы, часть унесут к себе в муравейник муравьи, растащат жуки и мухи. А из тех яичек, которые всё же уцелеют, выйдут на свет совсем ещё маленькие гусеницы — личинки. И всё опять начнётся сначала: личинки расползутся в разные стороны, будут есть свою пищу; из каждой получится взрослая гусеница; из гусеницы — куколка, совсем неживая с виду. Но придёт время — будто кто-то невидимый прикоснётся волшебной палочкой к сморщенному сухому сучку, и вдруг из него выйдет прекрасная бабочка. Словно после долгого-долгого сна расправит, встряхнёт тонкие крылышки. И полетит навстречу цветам, деревьям и солнцу. Она ещё никогда их не видела, не знакомилась с ними, и они — с ней. Скорее, ведь жизнь коротка: всего одно лето живёт бабочка на свете или даже несколько дней, а то и того короче. А надо столько успеть!

Сколько на свете разных бабочек, не похожих одна на другую?

Люди стали считать: сто… двести… тысяча… девяносто тысяч… нет, не бабочек, а одних только разновидностей, видов, как их называют учёные. Даже, наверно, больше!.. Они летают, где захотят, — в лесу, на опушке, в поле, в городе, где возле каменных зданий растут зелёные деревца и цветут на клумбах цветы. Когда бабочка устанет, она опустится отдохнуть на травинку или на дерево. Или на цветок, если захочет сладкого сока.

Больше всего бабочек живёт на юге, в тропических жарких странах. Огромные и совсем крохотные, одноцветные и переливающиеся яркими красками, с самыми причудливыми узорами на крыльях, они там порхают почти круглый год. Это и понятно: ведь в жарких странах не бывает холодной зимы и там очень много больших душистых цветов. Бабочки любят тепло и цветы, им там хорошо.

А на Севере?

А на Севере вьюги, снег, мороз. Сюда лишь ненадолго приходит лето. Разве могут они здесь жить — маленькие, совсем нежные. Сперва учёные думали, что нет их на Севере, а потом узнали: есть!

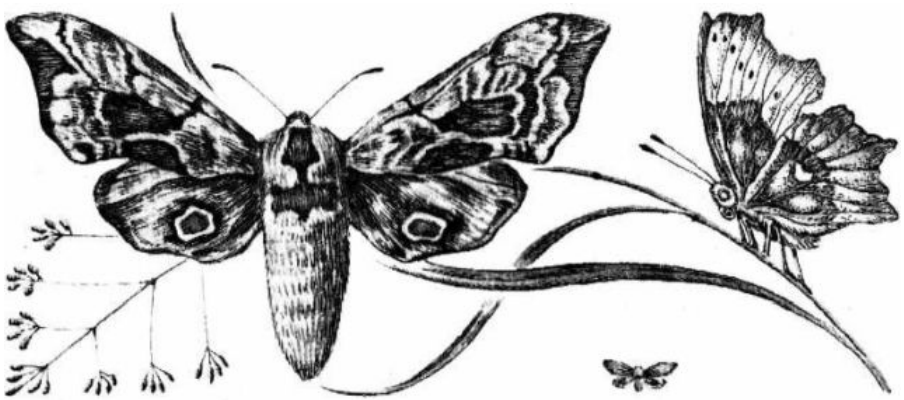
Вот она, эта бабочка, перламутровка полярная. Она живёт и летает даже за Полярным кругом.

Один мальчик, который живёт тоже за Полярным кругом в новом городе Мирном, написал мне в письме:

«*Я наших бабочек ещё больше люблю, чем южных. Потому что им холодно, а они всё равно от нас не улетают*!»

Самых маленьких бабочек называют мотыльками. Самый маленький мотылёк здесь нарисован, не проглядите его.

Самая большая бабочка живёт в Южной Америке и называется «южноамериканская ночница-агриппина». Если эту бабочку нарисовать в полный рост, книжной страницы не хватит.



Дневные бабочки летают днём. Ночные и вечерние — ночью и вечером.

Дневные — обычно ярко окрашены, а ночные — обычно серенькие или рыжие, совсем не такие нарядные. Ведь ночью, когда им время летать, их всё равно не видно.

Если вы заметите бабочку, которая села на ветку или на цветок и сложила крылышки вместе, будто такой тонкий листик, знайте — это дневная бабочка. Она сейчас спит, отдыхает.

А ночные крыльев не складывают или складывают совсем по-другому: домиком.

Сможете теперь отличить: где ночные, а где дневные?

Прислушайтесь, какие у них необычные имена: махаон,

аполлон, крушинница, адмирал… И такие: сатурния, аврора…

Названия-имена, конечно, придумали люди. Но неужели кому-нибудь безобразному можно дать такое красивое имя?

Есть люди, которые называют себя охотниками за бабочками. Это коллекционеры, они собирают коллекции, чтобы их изучать. Один такой «охотник» научился до того незаметно и ловко подкрадываться к бабочкам, что те ничего не подозревали, пока не оказывались в его сачке. В коллекции этого человека были тысячи бабочек, и все они были там как живые.

В поисках редких бабочек коллекционер объездил полмира. Он охотился за ними в Европе, побывал в Африке, плавал через океан в Южную Америку, где, по слухам, жила красавица Морфо Евгения. Говорили, что это самая красивая бабочка на свете. Крылья её светло-голубого, почти серебристого цвета, переливаются на солнце так, будто они в самом деле изготовлены из тончайшего серебра и молочно-блестящего перламутра. Даже в самых знаменитых музеях мира таких бабочек было раз-два и обчёлся. А некоторые учёные вообще не верили в то, что они существуют. Вот почему этому человеку непременно хотелось поймать редкую бабочку. Но как он ни старался, Морфо Евгения не попадалась ему.

Охота за бабочками в тропических джунглях — не такое простое и безопасное дело. Однажды на яркий свет его лампы вместо долгожданных бабочек слетелись полчища крылатых муравьёв, от которых ему пришлось отбиваться метлой. В другой раз он едва не погиб от ядовитой змеи.

Он придумывал всё новые и новые приманки, например банановый сок и вино, на запах которых слетаются бабочки. А отведав приятного лакомства, они как пьяные падают в траву — остаётся лишь подбирать их пинцетом. Однако загадочная Морфо Евгения так и не прилетела ни разу…

Но вот однажды, проснувшись раньше обычного, он вышел из дома. Он думал отправиться на охоту за дичью, а совсем не за бабочками. Ведь обычные дневные бабочки появляются, когда солнце уже высоко в небе. А в то утро оно ещё не успело подняться. И вдруг в раннем утреннем сумраке перед ним, словно молния, промелькнула голубая красавица Морфо — одна, за нею другая и третья… Солнце в тех краях встаёт быстро. Прошло каких-нибудь десять минут — и уже рассвело. И красавиц не стало. Но и этих минут учёному было достаточно, чтобы понять: Морфо летают лишь на заре, на рассвете! Тогда их и можно ловить. Уже на другое утро в его коллекции появилась прекрасная бабочка.

И вот что ещё интересно: из крыльев Морфо учёные пробовали извлекать голубую краску. Для этого их растворяли в специальном растворе, но раствор всё равно оставался бесцветным. Так вот оно что: эти крылья голубые совсем не от краски! Чешуйки пыльцы, которые их покрывают, на самом деле прозрачны и ничем не окрашены. Но они как хрустальные стёклышки: ловят белый солнечный свет — лучи всех цветов, а выпускают наружу один лишь голубой. Вот почему крылья Морфо так волшебно переливаются, играют на солнце!

…Когда-то мне очень нравились страшные сказки — лишь бы они хорошо кончались. А это была именно такая сказка. Наверно, поэтому я и запомнил её. В ней рассказывалось о том, как ужасный дракон похитил красавицу, дочь императора. И утащил к себе в чёрное подземелье, в пещеру, где всегда была ночь и откуда ещё никто не сумел выбраться. К счастью для этой принцессы, она была добрым человеком и за всю свою жизнь не обидела ни зверя, ни птицы, ни бабочки. С бабочками у неё были особые отношения.

Впрочем, не стану спешить, лучше расскажу обо всём по порядку, сначала.

Итак, принцесса жила в домике, построенном специально для неё в саду её отца-императора. Стены домика были из тончайшего

фарфора, как драгоценный сервиз, крыша напоминала островерхую шляпу-колпак с загнутыми кверху краями. И весь домик, казалось, был легче чаинки — может быть, потому он так и назывался: чайный домик. А может быть, вовсе не поэтому, а совсем по другой причине: в саду возле домика росли прекрасные нежные цветы — чайные розы.

Каждый вечер они складывали, прикрывали свои лепестки, а каждое утро принцесса поливала чайные розы росой из серебряного кувшинчика, и они распускались ещё лучше вчерашнего. А когда розы распускались, к ним отовсюду слетались бабочки — пёстрые, яркие, огромные и крошечные, все с длинными тонкими усиками, которые чудесным образом за тысячу метров могут чувствовать запах даже самого незаметного маленького цветка!

И вот они прилетали и порхали над чайными розами — нежно-розовыми, почти прозрачными, каким бывает небо перед восходом солнца.

И вот опускались, каждая на свой цветок, распрямляли пружинки-соломинки и пили сладкий цветочный сок и росу с лепестков. А некоторые искусницы умудрялись даже выпивать свою порцию на лету, не присаживаясь на цветок.

Весь день порхали бабочки по саду и благодарили добрую принцессу — садились к ней прямо на платье, украшали причёску… Придворные и даже сам император не всегда могли угадать, что это у принцессы на голове — новый дорогой бант или живая бабочка?

Как только приходил вечер, розы складывали лепестки, а бабочки неслышно улетали из сада, словно таяли в наступающих сумерках.

Но одна бабочка никуда не улетала. Она всегда жила здесь, на большом тутовом дереве, среди густой листвы. И здесь откладывала яички. Сперва её гусеницы-личинки ползали по тёмно-зелёным тутовым листьям, с удовольствием их поедая — на завтрак, на обед и на ужин. А потом… Что происходило с ними потом, вы тоже узнаете в своё время. Сейчас я спешу рассказать про другое — про то, что случилось с принцессой.

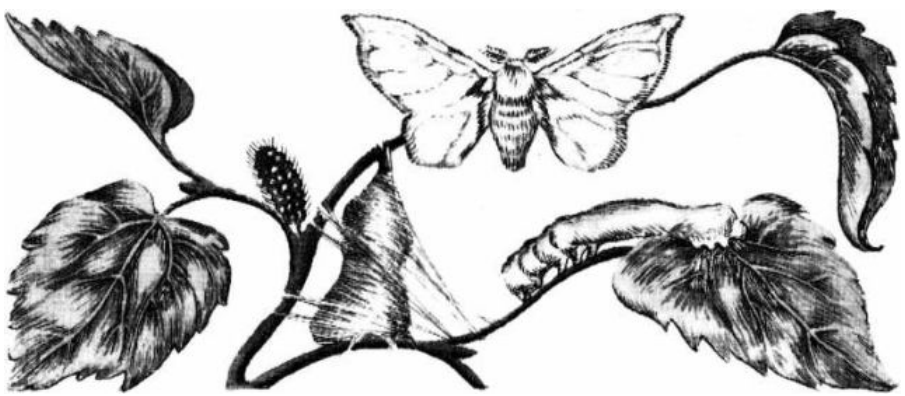
Однажды — это было, когда синий вечер стал таким синим, что трудно было уже отличить его от совсем чёрной ночи, — принцесса зажгла, как обычно, свечу у себя на столе в фарфоровом домике и прикрыла её прозрачной, тоненькой сеткой, чтобы бабочка — та самая, что никогда не улетала из сада, — не обожглась об огонь. Ведь известно, что бабочки принимают огонь за чудесный цветок, самый яркий на свете, который вечно цветёт и меняется прямо на глазах. И они летят на

него, позабыв об опасности. А это иногда плохо кончается…

Так вот, однажды вечером, когда в саду никого не было, дракон влетел в открытое настежь окно, схватил и унёс принцессу. Но бабочка — та, что жила на тутовом дереве, — видела это и успела сунуть в руку принцессе что-то маленькое, какой-то продолговатый клубок с ниточкой-шелковинкой. А конец шелковинки привязала покрепче к ветке дерева. Дракон с принцессой летели, а тонкая ниточка разматывалась, всё разматывалась. И была такой прочной, что ни разу не оборвалась. По этой ниточке принцесса и нашла дорогу обратно домой, когда дракон унёс её в подземелье и оставил одну.

Вот обрадовался император-отец, который уже не чаял вновь увидеть любимую дочь! И с тех пор — а с тех пор прошло пять тысяч лет — повелел своим подданным специально сажать и выращивать тутовые деревья. И оказывать бабочкам, которые селятся на этих деревьях, всевозможные почести…

Эта бабочка называется *тутовый шелкопряд*, — заканчивалась история.



— Значит, бабочки вправду умеют прясть шёлк? Значит, это не такая уж сказка? — спросил меня один мальчик, которому я её рассказал.

Не знаю, жила ли на самом деле принцесса. И был ли такой дракон. Что же касается бабочки, то всё в этой сказке настоящая правда. Гусеница тутового шелкопряда, когда ей приходит пора превращаться в куколку, достаёт изо рта, из дырочки в нижней губе, длинную-предлинную паутинку-шелковинку и обматывается ею. Получается кокон, шёлковый домик-клубок, внутри которого живёт наша куколка. Постепенно она становится бабочкой. Дождь льёт, ветер свищет, снег летит, солнце печёт — куколке в коконе тепло и покойно, не холодно и не жарко. Наступит день —

бабочка прогрызёт в коконе маленькую круглую дырочку и вылетит на свободу, на волю…

Жители Китая первыми научились разматывать коконы в шёлковую нить. А из нитей ткать шёлковую ткань — тонкую, прочную, лёгкую и гладкую, такую красивую, что не жаль платить за неё чистым золотом. Караваны верблюдов, гружённых тюками товаров, направлялись отсюда в самые дальние страны. Но и здесь только очень богатые люди могли покупать драгоценный шёлк, чтобы шить из него одежды.

«Из чего его делают — лёгкий, словно воздух, скользкий, как льющаяся вода?» — ломали голову иностранцы.

«О-о, это очень большой секрет!» — говорили заезжие купцы, которые, впрочем, и сами не знали секрета. Ведь купцы лишь покупали чудесную ткань да перепродавали другим, а изготовляли шёлк мастера.

Один древний римлянин думал-думал и написал в одной книге про тех, кто делает шёлк: «Они сидят под деревьями и ловят руками клочки тончайшего пуха, которые сносит с веток дождём…» Вот так додумался!..

Он написал это очень давно, две тысячи лет назад. С того времени уже во многих странах люди научились разводить тутовых шелкопрядов, получать из их коконов нить, а из нити ткать шёлк.

Вот вам и «бесполезная» бабочка!..

Я рассказал вам про тутового шелкопряда, а бывает ещё дубовый: его гусеница питается листьями дуба. Из коконов дубового шелкопряда получают нить погрубее, потолще. Из неё делают ткань чесучу и прочный шёлк для парашютов.

А вот из коконов непарного шелкопряда ничего не получается. Зато прожорливые гусеницы непарного шелкопряда, если их разведётся очень уж много, могут объесть целый лес, погубить все деревья. Те, кто видел, рассказывают: «Птицы не поспевают клевать жирных гусениц, они расползаются в разные стороны, дальше и дальше. Ни листочка не остаётся на ветках, ни зелёной иголочки — голо и пусто. Мёртвый лес!..»

Нет, этого им позволить нельзя! Ведь лес — это тоже красивое и нужное всем: людям, бабочкам, птицам, зверям…

Жил во Франции старый учёный Жан Анри Фабр. Больше всего на свете он любил наблюдать, как ведут себя насекомые — жуки, кузнечики, осы, пчёлы и бабочки. Однажды Фабр осторожно поймал и посадил под колпак из тонкой проволочной сетки

большую ночную бабочку под названием «павлиний глаз». В ту ночь ему так и не пришлось заснуть: вскоре его комната наполнилась порханьем и шумом крыльев! Десятки таких же бабочек спешили из дальнего леса к своей подруге и влетали в открытое окно. Откуда они узнали, где она находилась? Как отыскали дорогу? Вокруг — кромешная тьма, даже пальцев на вытянутой руке не разглядеть. Никаких звуков павлиний глаз издавать не умеет — вообще среди бабочек лишь немногие умеют еле слышно попискивать. Значит, позвать на помощь, крикнуть пленница не могла. И всё же друзья были здесь, прилетели за несколько километров!

Ветра на дворе не было, тишина, и учёному оставалось предположить, что бабочки находят дорогу друг к другу по запаху. А запахи они «нюхают» своими усиками.

«Верно, по запаху», — подтвердили впоследствии другие учёные. Но вот как они умудряются при помощи усиков так удивительно чувствовать запах, этого до сих пор никто объяснить не сумел. Ведь даже самая лучшая охотничья собака ничего не сможет почуять на таком расстоянии. А бабочка может…

Удивительные истории рассказывают про них — про то, как хрупкие бабочки совершают перелёты через горы и ледники, через целые страны. Или вдруг сыплются дождём на корабельные палубы в море. Можно много рассказывать про то, как они живут, летают, дружат с цветами и друг с другом. Я расскажу ещё немного.

Вам, наверно, известно это слово — *орнамент.* По-иному сказать — узор, украшение. Деревянный узор, выпиленный из обыкновенной доски, украшает крыльцо и ставни избушки. А другой, из простого железа, — печную трубу на крыше. Дым из трубы, конечно, будет валить и без всяких украшений, но избушка сразу станет скучной, не интересной.

Орнаментами из мрамора и цветного стекла строители украшают подземные залы метро. Узоры вышивают вышивальщицы, ткут ткачи и ковровщицы, рисуют художники.

Но вот что оказывается: придумать новый, небывалый узор — не просто. Для этого нужно смотреть и видеть, нужно искать красивое повсюду — в лесу, где деревья и листья, в саду, где груши, яблоки и цветы, на лужайках, где кружатся бабочки. Никто их специально не разукрашивал, и чудесный узор на их крыльях, быть может, только для красоты. Но разве это ни для чего? Разве этого мало!..

Живут и летают…

Лесная грамота

Про кого это?

Есть люди — живут в больших городах. Есть — в деревнях. А Миша живёт не в деревне и не в городе, а на кордоне у дедушки, в избушке посреди леса.

Тут и перед окнами, и куда ни пойдёшь, ни глянешь — всё ёлки да сосны растут, да ещё иногда кривые берёзы, да малина по вырубкам, да молоденькие посадки, да огромные муравьиные кучи.

Есть ещё возле дома запруда, которую Миша с дедом каждую весну чинят и обновляют, чтобы не прорвало. Есть пруд, и в нём плавает большая водяная крыса — ондатра. А прячется она на берегу в норе.

Рыжие белки живут в лесу и пугливые серые зайцы. А волков совсем нет, но их и не надо. Если бы волки были, они могли бы таскать овец или кур или даже задрать телка. Они бы выли зимой. И дедушка всё равно бы их застрелил. Ведь у него есть ружьё двустволка, которое очень метко стреляет.

Дедушка не просто живёт в лесу — он лесник. Он сторожит лес. А Миша ему помогает.

Одна девочка, которую Миша встретил на кордоне, засмеялась:

— Чего же лес сторожить? Он ведь без ног — никуда не убежит, не денется!

В том-то и дело, что деться может! Вдруг лесной пожар? Вдруг плохой человек с топором придёт? Вдруг заведётся вредная гусеница, жучок? Вот и прощай, лес!.. А чтобы этого не было, живёт на кордоне лесник.

Лесная грамота

Я приехал на знакомый кордон. Устал с дороги, попил с лесником чаю и лёг спать.

А утром проснулся очень рано оттого, что где-то далеко грохотало и шумело.

Я подумал: это валят деревья — и вспомнил, что рассказал мне вчера лесник.

Текла когда-то речка, широкая, глубокая, и по ней плыли пароходы, а в жаркие дни купались люди. А на берегу рос густой зелёный лес.

И люди в деревнях сеяли пшеницу и рожь, сажали картошку, помидоры, капусту.

Но вот однажды сказал человек: лес — это прочные брёвна и гладкие доски; это комоды, столы, табуретки; это белая бумага и жаркие дрова. И пришли сюда лесорубы — не один, не два, много! На каждого лесоруба по дереву — вот и леса нет: весь срубили.

Стало здесь светло и просторно, далеко видно. Зато все звери и птицы пропали, и грибов не стало, и ягод.

А потом обмелела река, пароходы не могли больше плыть: ведь это лес раньше охранял воду. И душные ветры днём и ночью стали сушить землю: раньше лес не пускал их. И поля начали плохо родить. Пришло к людям горе — стало голодно в их домах. Даже в колодцах пересохла вода. А в воздухе запахло зноем и дымом.

Тогда только люди поняли, что лес — не одни лишь дрова и табуретки, лес — это зелёная прохлада в жаркий полдень, это много маленьких звонких ручьёв, которые несут свою воду в большие реки; это полезный чистый воздух и сколько ещё другого хорошего!

Я не утерпел и спросил:

— А что было дальше?

— Что? Люди посадили семена и стали ждать, пока вырастет новый лес, — не выдержал Миша.

— А долго он растёт?

— Вот сколько лет мне, столько и нашему лесу, — сказал Мишин дедушка.

«Ого, — подумал я, — значит, деревья рубить нельзя. Срубишь, а потом целых семьдесят лет жди, пока вырастут!»

А лесник сказал ещё:

— Если рубить только старые деревья, а молодые не трогать, никакого вреда не будет. Людям без досок и брёвен тоже ведь не

обойтись. Вот стол нужен, вот изба. Только лес надо рубить с умом, надо вот что знать — лесную грамоту.

Дёр! Дёр! Дёр!

«Дёр! Дёр! Дёр!..» — кто-то противно кричит в лесу.

Скрип… скрип… скрип… — скрипит возле дома ворот: ведро опускают в колодец.

А в ответ ещё громче:

«Дёр! Дёр! Дёр!..»

Будто кто-то сердится там, думает, наверно, что его передразнивают.

Пошёл выследил: это же старая знакомая — птица деряга! Так её лесник называет.

Прошлым летом, когда я тоже гостил на кордоне, мы с дедом в лес ходили, делянки осматривать. Вижу: пёстренькая птичка, чуть поменьше грача, схватила что-то с земли — и в кусты.

Я за ней потихоньку: сидит, жёлудь расклёвывает. Позавтракала — и за другим.

А другой-то есть не стала. Разгребла клювом землю, мох и зарыла.

Вот какая она, деряга: закопает жёлудь про запас, а сама и забудет. А он возьми да и вырасти!

Теперь, когда я в лесу молодой дубок замечу, то думаю: где-то здесь птица деряга живёт. А что она так противно кричит, так это пускай себе…

Пчёлы отроились

В лесу цветёт липа, на каждой полянке полно разных цветов, и от этого всюду пахнет чем-то знакомым, душистым, сладким. Да ведь это же мёдом пахнет: подходи, бери! Вот и «берут» пчёлы, и носят в свои ульи с раннего утра и до вечера — весь светлый день работают.

У деда было четыре улья. Из одного вылетела молодая матка и за ней другие пчёлы — новый рой. Рой сел в саду на яблоньку. Старик быстро взял куль из вывернутой еловой коры и смёл туда пчёл. Они его жалили. Одна прямо в глаз. Глаз оплыл, а дед смеётся: «Это полезно, когда пчела кусает!»

Вечер пришёл. Стало смеркаться. Пчёлы тогда смирные. Дед принёс деревянные рамки с чистыми восковыми ячейками — сотами. Он составил рамки в пустой ящик, а сверху тряхнул куль. Пчёлы так и посыпались грудой, будто не живые, а сухие, бумажные… И зашелестели. Он ещё тряхнул — ещё посыпались и… запóлзали. Дед их дымом окуривать! Когда всех вытряхнул и они заползли в улей, дед сверху настелил досочки — потолок — и поставил крышу от дождя.

Пчёлы в улье гудели, а некоторые выползали через щёлочку-лётку и снова заползали в улей.

Дед был в фуфайке, а на лице — сетка. Только руки голые, он в них держал дымарь. Это вроде чайника с носиком, откуда выходит дым. Внутри «чайника» разные гнилушки горят, берёзовый гриб, а позади — меха, чтобы раздувать огонь. Пчёлы дыма боятся, дуреют от него и не жалят.

Лесосека

Там секут лес. Секут — значит, валят деревья.

Я пошёл туда, а мне навстречу по дороге ревели огромные грузовые машины — лесовозы. Они везли лес — длинные деревья с обрубленными сучьями, хлысты.

А где-то далеко визжали электрические пилы, с грохотом падали деревья. Это и была лесосека. Туда не пускают, потому что опасно: всюду валят деревья и может придавить. А те, кто там работает, знают, как надо беречься.

Когда шум на лесосеке затих, увезли все хлысты, сгребли и сожгли ветки, я пришёл туда. Там, на большой поляне, где раньше очень старые деревья стояли, одни пеньки остались.

…На кордоне возле избы — грядки. На грядках не помидоры, не огурцы растут, а маленькие пушистые ёлочки и сосенки. Когда жарко, их поливают. И землю вокруг них тоже разрыхляют граблями. Всё как на огороде! У ёлочек на грядках земля чёрная, а у сосенок песок — кто что любит.

Весной Мишин дедушка возьмёт из этого лесного питомника саженцы — совсем ещё молоденькие сосенки и ёлочки — и привезёт их на лесосеку. Здесь их посадят.

И будет расти новый лес.

Заблудились

Пошли мы однажды с Мишей за грибами и заблудились. Случилось это так. Искали грибы: под берёзами — подберёзовики, под осинами — подосиновики. Слушали, как дятел по дереву клювом долбит, червяка-закорыша под корой ищет. Сильно стучит, будто клюв у него железный.

На вырубке, где пни торчат да растут молоденькие деревья, напали на малину. Мы корзину возле пня поставили, сами принялись собирать. Собираем, собираем — и прямо в рот: даже говорить перестали. Вдруг в стороне, в кустах, что-то большое как затрещит, заломает — и затихло. Мы замерли.

Я говорю:

— Что бы это?

— Медведь, может? — шепчет Миша.

Я говорю:

— Убежал, кажется…

— А если вернётся?

Схватили мы грибы и скорей подальше.

— Ну, — говорю, — Миша, хорошо мы с тобой бегаем!

Только смотрим — где это мы? Всё кругом незнакомое. А компас я на кордоне забыл! И дождь начинается, темнеет. Что теперь будет!

Вдруг Миша сказал:

— Идти нужно вон куда! — и показал на большую муравьиную кучу.

А я подумал: «Нет, совсем не туда. Дорога должна быть слева».

— Всё-то ты, Миша, путаешь.

А Миша упрямится, даже сердиться стал:

— Нет, сюда, сюда!

Тут я засомневался:

— Откуда ты знаешь?

— Вот знаю! — говорит Миша и за руку меня тащит.

Идём, всё идём… Скоро деревья стали редеть, большак показался — большая проезжая дорога. Удивился я, обрадовался:

— Как ты, Миша, догадался, куда идти?

— Очень просто, — сказал Миша, — по муравьиным кучам. Муравьи всегда к югу от дерева селятся, чтобы солнце пригревало. Вот мы всё на юг в одну сторону и шли, по муравейникам. Не заметил разве?

И правда, я ничего не заметил. Вот получилось как…

Наконец и знакомый кордон. Кругом темно, дождь моросит, а

в окнах горит свет — лесник поджидал нас. На столе гудел самовар.

— Много грибов набрали?

— Много, — сказал Миша. — Чуть на медведя не наскочили.

Дед засмеялся.

— Медведей в нашему лесу давно нет. Вот лось может быть…

— А-а, лось! А мы-то думали… — сказал Миша.

А я промолчал.

На покосе

Рано утром — Миша не проснулся ещё — дед ушёл на покос. Утром трава мягкая, в росе, и хорошо косится. А кругом не жарко, потому что солнце не поднялось ещё.

Дед недалеко ушёл и в обед вернулся домой. Он вернулся и стал на железном бруске косу отбивать, чтобы она острей была.

Он по ней молотком стукал: тук… тук… тук…

А Миша рядом вертелся и всё просил:

— Дедушка, возьми на покос!

От удара коса греется, накаливается. Дед сказал Мише:

— Сходи принеси воды.

Миша мигом притащил полную кружку. Дед стал макать молоток в воду, чтобы коса не треснула.

К вечеру, когда жара спала, дед с Мишей отправились на покос.

Дед косил, а Миша граблями ворошил сено, которое утром скосили. Чтобы скорей просохло. Когда сено просохнет, можно его в копны сгребать и смётывать на зиму в стога.

Дед не подолгу работал, потому что был старый и быстро уставал. Он всё ходил отдыхать на пенёк возле высокой сосны. У сосны кора была содрана сверху донизу, будто когтем кто деранул. Миша спросил:

— Это кто?

— Это гроза в дерево стукнула, — ответил дед, — молния.

— Она в землю ушла?

— В землю. Куда же ещё!..

— Значит, если землю копать, её выкопаешь? Дли-инная стрела…

Дед подумал и ничего не ответил, он только сказал:

— Станешь ходить в школу, там и узнаешь. Учитель про всё расскажет.

Лесной вредитель

Дед отправился обход делать своему лесу. Ходил-ходил — весь лес обходил, а вернулся сердитый.

Дед сказал:

— Вредный жук-короед напал на деревья. Поест кору — вот и погиб лес!

— Один жук разве может съесть целый лес? Разве жук такой большой? — спросил Миша.

— Да уж, большой! Поменьше ногтя…

— А чего же с ним не справятся?

— Да ведь их столько, жуков-то! На каждом дереве, возле каждого сучка сидят и грызут — точат. Если их просто руками снимать с деревьев, рук не хватит.

И Миша тоже тогда испугался и не знал: что же делать?

А дед молчал.

Немного погодя он сел на велосипед и уехал в деревню, в контору. Там на стене висит телефон. Дед позвонил по телефону. Он сказал:

— Жук-короед напал на лес. Пришлите помощь!

— Помощь будет, — ответили деду в трубке.

И дед вернулся на кордон.

А утром прилетел самолёт. Он летал над всем лесом и всюду сеял, разбрасывал жёлтый ядовитый порошок.

— Ну, теперь короед забегает, да нигде не спасётся, — сказал дед. И даже улыбнулся.

Ондатра

Ондатра жила далеко. Очень далеко: в Америке. Там она купалась в большом озере. И ловила на обед лягушек.

У неё толстый хвост и гладкий густой мех. Она как большая крыса, только не боится воды, плавает и даже ныряет. Её и зовут ондатра — водяная крыса.

Потом её посадили в самолёт и повезли, а куда — она и сама не знала. Привезли самолётом из Америки к нам и здесь выпустили. Теперь в наших озёрах тоже ондатры живут. Им у нас понравилось. Они любят есть осоку и сочный камыш. И лягушек здесь тоже едят.

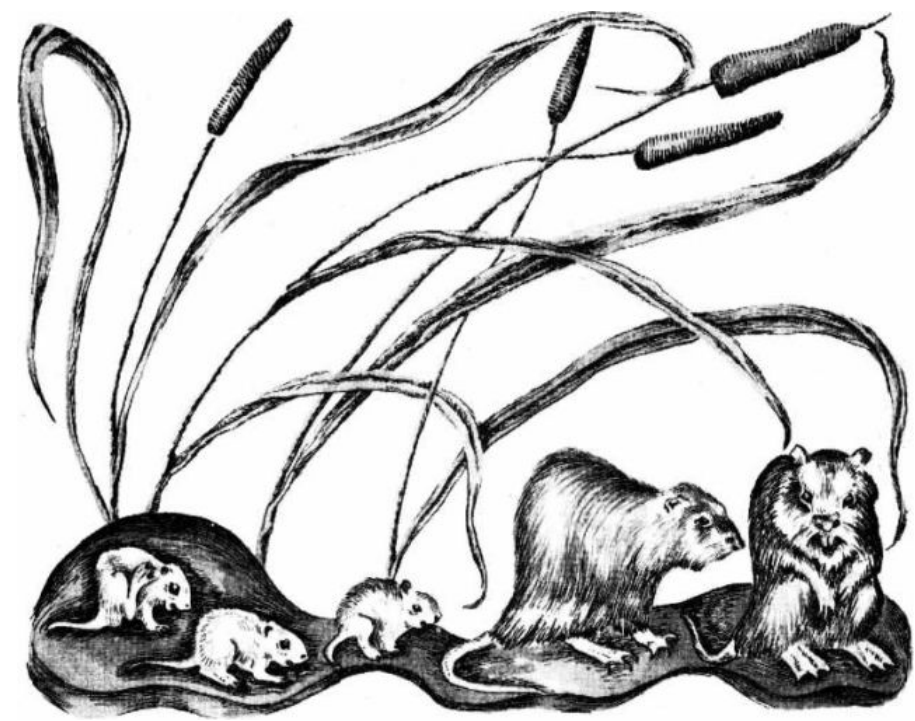
И в этом вот пруду, на лесном кордоне, живут ондатры.

В пруду живут ондатра-папа и ондатра-мама. А весной у них будут ондатры-малыши. Большие ондатры для своих малышей норы копают, делают дырки в запруде. А Миша с дедом всё чинят запруду: новые колья забивают, землёй забрасывают, чтоб вода из пруда не вытекла.

Миша сердится:

— Отчего ондатра не в другом месте копает, а вот запруду?!

— На то она и ондатра, чтобы норы делать, — говорит дед. — А здесь она оттого копает, что земля мягче.



Подарок

Собрался я уезжать домой в город. Сложил свой рюкзак, попрощался с хозяевами.

На прощание дал мне старый лесник баночку мёда. Сверху баночка закрыта бумажкой, завязана бечёвкой. А мёд всё равно пахнет — лесными полянами, цветами, липой… Всю дорогу не даст мне забыть о лесе и там, дома, тоже не даст.

А Миша подарил мне самый обыкновенный глиняный горшок с землёй. И больше ничего. Только велел поливать почаще. А сам улыбается так загадочно.

Я всё исполнил: поставил горшок дома на табуретку и поливал всю зиму и потом всё лето. И когда уже стал забывать про кордон, и про лес, и про Мишу, выросло у меня в горшке вот что: не цветок и не лесная трава-мурава, а настоящее маленькое дерево — ёлочка. И такие зелёные, пушистые, нежные были на ней иголки, так свежо пахла она смолой, такие в будущем обещала лесные тенистые шатры, и грибы, и белку, что я стал думать: как же это получается, что в маленьком крылатом зёрнышке из обыкновенной шишки запрятано такое вот чудо? И всё думаю…

Рум. История зубробизона

1

У него были две родные сестры, близнецы — Рукавица и Ручка. Обе на год старше его, но уже большие, горбатые, густо поросшие шерстью. Когда, на другой день после рождения, мать привела его в стадо, они угрожающе стали против него, опустив до земли квадратные головы, с шумом вдыхая запах пришельца. Но запах оказался не страшным — пахло чуть горчащим и тёплым молоком матери (она только что накормила его в орешниковых зарослях в дальнем углу загона и насухо вылизала языком), пахло чем-то знакомым и нежным, но почти забытым. И они признали его. Успокоившись, принялись как ни в чём не бывало отщипывать и жевать сочные плети коры со свежезелёных осиновых кольев, которые свалили им утром полную телегу, и отмахиваться хвостами от надоедливых комаров и слепней. Он же постоял ещё, словно в раздумье, покачиваясь на прямых, как палочки, ногах, словно получше запоминая этот мир, в котором ему теперь жить — ослепительно яркий, до отказа заполненный небом, солнцем, травой, деревьями, этот словно промытый, прозрачный, сияющий шар, посредине которого он очутился. И, добредя до одинокой берёзы, подогнул под себя, будто переломил, сперва передние ноги, опустившись на грудь, потом — задние, как это делают все взрослые бизоны и зубры, зажмурился и уже опять спал.

Он только это и делал в первые дни своей жизни — ел да спал. Мать находилась тут же при нём или поблизости. После, не сразу, подошёл отец — огромный, чёрный, в шерстяных мохнатых «штанах» до колен, и тоже обнюхал его, серьёзно и молча. Следом потянулись знакомиться остальные.

2

Сколько он спал в тот раз — он не помнил. И ещё никаких снов не снилось ему, потому что для снов нужно иметь впечатления, которых было пока маловато. Во сне он лишь набирался сил и сны видел совсем простые, спокойные: что-то розовое, что-то голубое… Спал, изредка причмокивая, словно человечий ребёнок, и неслышно дышал.

Он снова открыл глаза, оттого что почувствовал на себе чей-то настойчивый взгляд, который словно подталкивал, будил его. И когда он открыл глаза, то увидел перед собой странно стоящее существо на двух ногах. Человек в серой кепке стоял за высокой изгородью из берёзовых жердей и пристально глядел на него.

Это был Зубровод, который должен был дать ему имя, чтобы потом записать в свою книгу — толстую, с замусоленными углами тетрадь, лежащую на столе в конторе: в ней были уже записаны все дальние и ближние предки и родственники. Не любую кличку, как дают безродным дворнягам, кошкам, коровам, а означающую, что он — сын чистокровной зубрицы и дикого степного бизона, зубробизон. И рождён здесь, в питомнике. А потому имя его, как и всех остальных зубробизонов, должно было начинаться на «ру» — так между собой договорились люди, чтобы удобно было следить по книгам за их жизнью. А зубрам и бизонам, должно быть, это было совсем безразлично — как их там назовут и запишут.

Человек шевелил губами, припоминая слова, и от него пахло приятным хлебом и неприятным табаком. «Рубаха… Ругатель… Румяный…» Он раздал много имён, и первое время это было ему легко и даже нравилось. Но он был молчалив по натуре, вовсе не златоуст, и вскоре запас его слов израсходовался. Приходилось теперь ломать голову, подыскивая новые имена.

Зубровод этот кормил животных, знал каждого в «лицо» и жалел как безответную перед человеком скотину. Задумываясь же, он уставал, на лбу его появлялись морщинки, и он сердился. Лучше бы его заставили делать что-то другое: например, чистить лопатой загон или рубить осину и иву на корм зубрам — это было куда сподручней ему.

«…Румяный… Румашка… Рум…» — остановился он перевести дух. «Рум!» — и вдруг просиял лицом: что, если назвать его не обычным, известным всем людям словом, а придуманным, таким, которое он сам вот только что изобрёл?!

— Рум!..

От резкого оклика телёнок поднялся на ножках и слегка

попятился, не спуская при этом с человека недоумевающих глаз.

— Смышлёный, — довольно протянул человек, любуясь животным. Впрочем, стоять без всякого дела он не привык: забот у Зубровода хватало.

3

Первое время люди, которым удавалось на него поглядеть (а это в большинстве были случайные здесь, в питомнике, посетители, экскурсанты), находили, что Рум очень похож на обыкновенного телёнка, вот разве чуточку плотнее и коренастее: он был тогда совсем не горбатый, не обросший, не страшный. Да ещё небольшая бородка отличала его от коровьего сына — зубры ведь так и родятся с бородкой. И в этом есть свой резон: род зубров древнейший и, может быть, наши Бурёнки да Зорьки ведут свою родословную от этих животных, которых человек приручил, одомашнил когда-то…

Довольно скоро Рум привык к Зуброводу и, глядя на старших, не пугался беспричинно. Когда тот приближался, Рум тоже делал несколько шагов навстречу, к изгороди. В глазах его, по-коровьему выразительных, обведённых тёмными бархатистыми кругами, можно было прочесть одновременно любопытство, и настороженность, и готовность в любую секунду отпрянуть.

Совсем по-иному глядел он на мать: она была первым живым существом, которое он узнал, едва появившись на свет. А ведь инстинкт, врождённое чувство, подсказывает каждому, что это совершенно особое существо, единственное среди всех остальных…

Если бы Рум, впервые открыв глаза, увидел рядом с собой кого-то другого, а не мать, он, возможно, проникся бы безграничным доверием к этому другому, не родственному ему существу. И так же, как теперь у матери, искал бы у него покровительства и защиты, так же ходил бы за ним следом и доверчиво заглядывал бы ему в глаза. Каждая мать, наверно, догадывается об этом. Может быть, поэтому так ревниво следит она, чтобы никто прежде времени не приблизился к её детёнышу.

Через день и даже спустя несколько кратких часов — уже не опасно. За это время она успеет «умыть» его и накормит, даст обнюхать себя. И вместе с парным материнским молоком так прочно войдёт в него её образ, что не заменить никаким другим!

…Какой прекрасный у неё был язык — большой, горячий, шершавый, и сильный, и ласковый, так хорошо умеющий его поддержать, когда он качался на непрочных, ещё не окрепших ногах! Этот язык, едва Рум появился на свет, прошёлся по его бокам, вылизал спину и брюхо, побывал даже в самых укромных уголках его тела, до которых ему самому ни за что бы не дотянуться…

Отца Рум боялся. Не он один — его все в стаде побаивались. Даже человек, Зубровод, наполнявший в обеденное время кормушки, с опаской поглядывал на кривые бизоньи рога, на всякий случай замахиваясь чем попало, отгоняя бизона от изгороди. А что для того даже самая толстая жердь? Сунул между рогами, повернул голову набок и — готово, переломил, словно спичку…

…Это было прекрасное время — обед.

Правда, первые дни своей жизни он не пробовал ещё ни зелёной травы, ни листьев, ни веток, а только и знал что сосать материнское молоко, притом делал это довольно часто. Зато потом, когда начал входить во вкус…

У каждого из них имелась своя кормушка — корыто, сбитое из толстых, грубо струганных досок. Кормушки подсовывались под нижнюю жердь в загородке, в одном и том же отведённом для этого месте. И трава в этом месте была вытерта до чёрной земли.

Сперва кормили бизона: это было его неоспоримое право — получать еду первым, — право, которое он сам за собой утвердил. Все остальные этому подчинялись, даже люди. Если первой положить корм зубрице, бизон всё равно прогонит её и примется за чужое.

Когда он уже получит своё и станет на место, можно кормить остальных.

Зубровод опрокидывал в кормушку овёс из ведра, а из другого ведра лил воду. Овёс был молотый и, пока его сыпали, курился в воздухе лёгким белёсым дымком. А вода падала чистая, прохладная. Это было так аппетитно, что зубры, не отрывая глаз от пока ещё недоступных кормушек, в нетерпении переминались на коротких крепких ногах и начинали жевать пустоту.

— Но-о, утроба твоя ненасытная! — притворно грубо кричал Зубровод, чтобы зверь не мешал его делу, и подпихивал ногой наполненное корыто.

Зубры неторопливо отходили, но как только видели, что теперь уже можно, шумно, с необыкновенной для таких громадин скоростью и проворством устремлялись к кормушкам и погружали в них морды.

Ели они обстоятельно, не отвлекаясь, с аппетитным и громким чавканьем, которое постепенно переходило в довольное похрюкивание.

Спустя много дней и месяцев, оказавшись в настоящем, ничем не огороженном большом лесу, где приходилось заботиться о себе самому, Рум из всей своей прошлой жизни помнил отчётливо, пожалуй, лишь это: человека с ведром и кормушку, над которой курился овёс. Но, не зная, что это всего лишь воспоминания, не понимая вообще, что такое воспоминания, ожидал всякий раз наяву появления Зубровода с ведром у кормушки: время уже пришло и он давно голоден! И, не видя ничего этого перед собой, начинал раздражаться, требовать — набычившись, шёл напролом через высокий кустарник, ломал какое-нибудь деревце в чаще и со злости дочиста объедал.

Наевшись, он обычно не вспоминал ничего.

4

За первое лето Рум так вырос и возмужал, что вполне мог сравниться с годовалым коровьим телком.

Он уже разбирался в травах, листьях и ветках: какие из них нежны и приятны на вкус, а какие не стоит и пробовать — этому он научился, глядя на старших.

В знойные летние дни Рум также научился у старших находить спасение от бесчисленных комаров и слепней в «купалках» — неглубоких, растоптанных ямах, заполненных песком и пылью. Если в такой купалке хорошенько вываляться, «искупаться», то зуд от укусов разъярённых насекомых становится потише.

Рум однажды и сам сделал открытие. На поляне, где долгое время лежали сухие, негодные в пищу ветки и обглоданные до чистого дерева колья, был устроен костёр. Это происходило в отсутствие зубров, когда они, как обычно в послеобеденный час, совершали прогулку в отдалённую часть загона, где протекал ручей, а потом нежились под сенью раскидистых серебристых вязов. Сушняк, предварительно собранный Зуброводом в высокую кучу, вспыхнул от спички, словно гигантский муравейник. Пламя взметнулось к небу и так же быстро опало, приникло к земле, дожирая остатки хвороста. Рум почуял издалека запах дыма, горелого дерева. И хотя самому ему не пришлось испытать, что такое лесной пожар, это насторожило его. Рум то и дело принюхивался к тревожному запаху. Он не посмел прилечь и был ко всему готов.

Ночью дождик смочил кострище, к утру ветер просушил золу и угли, и теперь посреди пятнистой порыжелой травы на поляне чернела круглая большая проплешина. Наткнувшись на неё днём, Рум осторожно ступил в загадочный круг. Это была не простая земля, но пугающего запаха уже не чувствовалось. Возле его ног поднялись лёгкие фонтанчики пепла, медленно оседая. Рум лизнул языком остывшую головешку — вкуса он не почувствовал. Это не было тем, что едят. Всё же он не ушёл. От золы, от пепельно-серой массы тянуло мягким теплом. И Рум внезапно опустился на брюхо прямо в эту податливую ласковую теплоту. И затем, испытывая ни с чем не сравнимое блаженство, принялся перекатываться то на один, то на другой бок, будто он вовсе не был огромным и грозным зубробизоном. Да ведь, наверно, и он мог, хотя бы ненадолго, почувствовать себя всего лишь звериным детёнышем — пушистым, беззаботным. А навалявшись как следует в свежей золе, он вдруг сделал открытие: подобные

чёрные пятна годятся для тех же целей, что купалки. И это пришлось очень кстати, потому что в лесу комаров, мух и слепней расплодилось в то лето предостаточно…

С наступлением осенней прохлады несносные насекомые в один день исчезли, словно их и не было. А что касается зубров, то они в своих шубах к такой прохладе были не чувствительны.

Вскоре начались непогоды — дождь по нескольку суток, и листья на деревьях уже не просыхали, а только желтели, желтели, и земля сразу стала неприютной и мокрой. В ненастные дни Рум находил пристанище где-нибудь в редколесье, на возвышенности, где не застаивалась вода. Теперь у него были крепкие ноги, и он мог простоять на них неподвижно много часов подряд. Но иногда он ложился и, быть может, дремал, а от его влажных боков вздымался тёплый парок. Неподалёку дремали Рукавица, и Ручка, и все остальные — кто лёжа, кто стоя, словно в волшебном оцепенении.

…Когда наступила пора обильного листопада и предзимних ясных утренников, с ним будто что-то произошло. Рум то принимался скакать галопом без всякой причины, без цели, смешно вскидывая верёвочный хвостик с кисточкой на конце, то приставал к своим взрослым сёстрам, неожиданно наскакивая на них сбоку, с тыла, мешая им сохранить полагавшуюся по возрасту солидность, а также пережёвывать бесконечную жвачку. Сёстры озверели и, не в шутку бодаясь, прогоняли докучливого братца.

Всё же он нашёл себе друга — зубрёнка, на полмесяца младше его самого, на которого он до сих пор почему-то не обращал внимания.

Они встретились на усеянной огненно-жёлтыми и огненно-красными листьями поляне и сразу принялись бодаться. Нет, это, конечно, была всего лишь игра, у них и рогов-то ещё настоящих не выросло, а только намечались — пара твёрдых, покрытых шерстью бугорков, вполне безобидных на вид. Но это не мешало им помериться силой.

Сперва они, пригнув головы, упёрлись лбами друг в друга — кто кого сдвинет с места? — и долго оставались в таком положении. Зубры, как правило, сильнее бизонов, но медлительнее, неповоротливее. И бодаются зубры всегда честно, упираясь друг в друга лбами. Бизон хитрее: он, если видит, что в честном бою не возьмёшь, норовит обойти, словчить. Рум унаследовал полезные для себя качества и от зубров, и от бизонов. В решительный момент, когда, казалось, вот-вот кто-то из них не выдержит и отступит хоть на шаг, Рум сделал обманное движение головой, будто собирался усилить натиск, а сам

отскочил вбок. Противник, не ожидавший подвоха, со всего маху проскочил мимо.

Зубрёнок ещё приходил в себя от изумления и обиды, а Рум как ни в чём не бывало снова стоял перед ним и, пригнув голову к земле, вызывал друга на поединок.

Так они провозились почти целый день, и в последующие дни, встречаясь на тропинках, полянах или возле кормушек, каждый раз затевали весёлую возню.

Взрослым животным было сейчас не до них: наступила пора

осенних свадеб, яра, когда взрослых, кажется, покидают все другие заботы и помыслы, кроме одного: быки заняты тем, чтобы прогнать соперников со своей территории, укрепить единоличную власть, а зубрицы повсюду послушно следуют за мужьями.

Ночью земля, особенно в углублениях, в низинках, покрывалась хрустящей корочкой льда, а трава становилась звенящей и хрупкой. Но днём пригревало солнце, и лёд таял.

И вдруг выпал снег.

Это был первый снег в жизни Рума, и он не мог надивиться ему. На какой-то миг ему показалось, что это жирные белые мухи кружатся, кружатся в воздухе и облепляют со всех сторон землю. Но если бы это были мухи, они бы жужжали и кусались.

И Рум догадался, что это совсем другое…

Снег падал большими хлопьями, густо и скоро покрыл всё вокруг: на чёрных голых ветках деревьев, на зелёных еловых лапах лежали ещё одни, белые, ветки и лапы; травы, земли больше не было, а только пухлое покрывало, под которым угадывались все эти неровности местности — кочки, холмики, ямки, овражки. Лишь кое-где снежную пелену прорывали непокорные прутики и травинки — они всё же были, существовали там, внизу.

Рум стоял, припорошённый снегом, хотя снег давно уже перестал падать, и день был в полном разгаре: Рум словно боялся пошевельнуться.

Издалека протяжно зазвала труба. Мимо Рума несколько взрослых зубров прошли на обед, оставляя за собой чёрные дырки следов. Тогда наконец и он сдвинулся с места…

А тот первый снег, конечно, растаял. И ещё не один раз принимался идти снег и потом снова таять, пока не пришла настоящая, с морозом, с метелями, с белым негреющим солнцем, зима. Но никакие морозы не были страшны Руму. А снег оказался приятным, мягким, и его можно было лизать.

Ещё Рум узнал вкус сена, душистого и пряного, за которым не требовалось нагибаться к земле, чтобы рвать, а надо было выхватывать прямо из стога клоками и только жевать.

Огромных размеров стог привезли в питомник по снегу на деревянных полозьях-лежнях, в которые была впряжена сивая лошадёнка. Лошадёнку понукал человек, державший в руках концы двух верёвок и прут. Для чего верёвки — неясно, а вот что означал длинный прут — Рум, кажется, догадывался. Сивую лошадёнку он тоже видел здесь уже не впервые: летом её запрягали в скрипучее сооружение на колёсах — телегу и заставляли возить колья и всё, что требовалось. Но Рум никогда не наблюдал лошадёнку так близко. Теперь он заметил, как часто

и глубоко дышат её бока. От лошадёнки разило конюшней и по́том. Она виновато моргала, но временами, когда человек отворачивался, исподтишка следила за ним прищуренным хитрым глазом. Едва её выпрягли из лежней и Зубровод принялся сматывать верёвку, которой увязан был стог, лошадёнка, воспользовавшись свободой, поспешно погрузила морду в сено. Но человек стегнул лошадёнку прутом и зашагал за ней следом. Тогда Рум приблизился к стогу и тоже погрузил в него морду. Его никто не прогнал и, значит, ему это было позволено. А сено действительно оказалось вкусным…

Зимой Рум меньше двигался, подолгу лежал вместе с другими животными на полянах, и, когда шёл снег, их заносило, словно это были не зубры, а сугробы снега. Они могли так лежать очень долго и, наверно, о чём-то думали. Их звали обедать, и сугробы прямо на глазах вырастали, раскачивались, с них осыпался снег. Казалось, это сама поляна корчится от безмолвного землетрясения.

Зимой было тоже совсем неплохо. Правда, не было свежих побегов и листьев, по которым Рум всё же скучал, зато не было и оводов, слепней, комаров, без которых куда спокойнее. В общем, жить можно. А зима в тот год выдалась снежная, вьюжная, долгая. И Рум уже начал верить, что так будет всегда.

Но вот наступил месяц март, солнце стало подольше задерживаться на небе. В апреле тоненько зазвенела вода подо льдинками, потемнела кора на деревьях. Однажды ветер донёс откуда-то запах свежей смолы и сосновых опилок. В тот день Рум почувствовал, что зиме приходит конец.

5

Людей, постоянно проживавших в питомнике, было наперечёт, и Рум, как все остальные животные, знал каждого из них и что от кого следует ожидать. Кроме Зубровода, который почти безотлучно находился при зубрах, были ещё Ветеринар и Учёный.

Ветеринара Рум видел всего несколько раз.

Однажды, когда молодая зубрица Муравка слишком долго не могла отелиться, Рум увидел, как в дальний, отгороженный от прочих загон, где она последние дни находилась, прошёл человек. Незнакомец — а это и был Ветеринар — распространял вокруг себя резкий, неприятно щекочущий запах, от которого чуткие ноздри животных вздрагивали и трепетали. Он был с засученными рукавами, с торчавшими из них голыми большими руками. За ним следом едва поспевал Зубровод. Что делали там, в отдельном загоне, эти люди, Рум, конечно, не знал. Но он отчётливо слышал доносившиеся из-за дощатого сарая озабоченные голоса, и кто-то из них, очевидно Ветеринар — потому что голос Зубровода Руму был хорошо известен, — кто-то время от времени уговаривал Муравку:

— Ну, потерпи, потерпи немного, красавица… Вот так, ну ещё… Молодчина…

И Рум, испытывавший в эти минуты, как и все остальные зубры, какое-то странно-тревожное чувство, успокаивался от этого решительного и вместе с тем мягкого голоса, от его уверенно-ровного тона. Вот уже он улёгся на место, и вздыбленная шерсть на его загривке тоже постепенно укладывалась.

Потом он расслышал лёгкое похлопыванье ладонью по чему-то нежному, влажному скорее всего, это было совсем новое, только что родившееся существо…

Рум понял, что Ветеринар тоже не враг ему, хотя подлинное назначение этого человека долгое время оставалось для Рума загадочным: для чего он здесь, при животных?

Следующее посещение Ветеринара имело непосредственное отношение к Руму. Дело в том, что в безветренно-жаркие дни июля ему, чья шкура ещё не была такой толстой, неуязвимой, как у взрослых бизонов и зубров, чересчур досаждали оводы и слепни. И он даже потерял аппетит. В один из таких дней, без особой охоты направляясь из леса к месту кормёжки (другие зубры уже отобедали), вяло отмахиваясь хвостом от вконец обнаглевших насекомых, Рум издали заприметил, что кто-то склонился над его кормушкой. Рум ускорил шаги, он отнёсся к

этому весьма ревниво и насторожённо: его кормушки кто-то касался! Если он и не чувствовал голода, то уж во всяком случае ни с кем не желал делиться своей едой. Он даже не успел разглядеть, что кормушка ещё не была подсунута под изгородь, она находилась с другой её стороны. И что склонился над нею человек, которому он, Рум, обязан повиноваться. Знать он ничего не желал! Глаза его наполнились кровью, и когда Ветеринар, всыпав в кормушку горсть порошка и размешав это пойло, выпрямился, то увидел перед собой едва сдерживавшего бешенство зверя. Но человек сумел не подать виду, что испугался, только гы́кнул, шумну́л чуть громче обычного и бросил через изгородь палку, оказавшуюся под рукой. Удар метко брошенной палкой, пришедшийся Руму по шее, был для него не больнее, чем щелчок для любого из нас. Но он вдруг почувствовал необъяснимую власть над собой этого странного существа, человека, который никуда не убегал, не боялся, а упорно не сводил с него взгляда. И он был вынужден первым отвести взгляд, признать себя побеждённым.

Человек не спеша подвинул ногой кормушку, Рум уткнулся в неё всей мордой.

Неизвестно от чего — быть может, от порошка, всыпанного Ветеринаром, или от пережитых волнений, но обычная овсянка внезапно приобрела для него прежний и даже ещё более замечательный вкус. И он впервые за последние дни не отошёл от своей кормушки, пока не съел всё дочиста.

С тех пор Рум понял: Ветеринар — человек не менее могущественный, чем Зубровод.

Третий был Учёный. Он оказался хитрее всех.

Однажды Рум увидел человека ростом пониже изгороди, в широкополой соломенной шляпе, похожего на высохший гриб. Сперва Рум не обратил на него особого внимания, решил, что это обыкновенный посетитель, посторонний. А к посетителям Рум относился пренебрежительно: хотя вреда от них не было, а даже наоборот — иногда перепадали вкусные кусочки, один раз даже целая сдобная булка досталась — всё же это были не главные люди. Слишком они суетились, шумели, взвизгивали при виде мчавшегося на них бизона, который любил делать вид, будто намерен разнести изгородь в щепки, а на самом деле всего лишь пугал, заигрывал: подлетит совсем близко и с полного хода остановится словно вкопанный. Кроме того, экскурсанты менялись, почти каждый день приезжали в питомник новые, а старые куда-то исчезали…

Итак, Рум подошёл вплотную к изгороди и стал делать то, чему успел научиться у одной престарелой зубрицы, общей

любимицы: поворачиваться к изгороди то одним боком, то другим, шумно дышать, приглашая, чтобы его почесали и вообще обратили на него внимание. Он сперва не придал значения тому, что обычно посетители приходили к ним группой, а на этот раз был всего один человек, и что, несмотря на все старания Рума, человек-гриб не изъявил ни малейшей охоты угостить его или хотя бы сунуть руку сквозь жерди — почесать.

Наконец Рум обиделся на такое невнимание к себе и хотел уйти. Но в это время к незнакомцу подошёл Зубровод, и тот принялся что-то ему втолковывать, объяснять. Всё дальнейшее показалось Руму до того удивительным, что он, позабыв о собственной обиде, остался на месте, угрюмо внимая происходящему.

А происходило вот что: Учёный — а им и оказался человек чуть пониже изгороди — энергично жестикулировал под самым носом у Зубровода, который был почти вдвое больше, а значит, и вдвое сильнее. Маленький будто наскакивал на большого, теснил того, что-то доказывал своим тонким въедливым голоском. А большой, как ни странно, не делал даже попытки вступить с ним в поединок, чтобы себя защитить. Он только моргал да слушал, изредка вставляя слово-другое.

Рум родился и рос не в дремучем лесу, а в питомнике, учреждённом людьми. Но всё же его далёкие предки были дикие звери, для которых главный закон жизни — закон силы, он же закон справедливости. И Рум, хотя он знался с людьми и успел за недолгое время привыкнуть ко многим их странностям, всё же кровью был связан с предками. Вот почему он с таким недоумением глядел на этих двоих, и каждый раз, когда Зубровод пробовал заговорить, вставлял хотя бы словечко, Руму казалось, что сейчас начнётся то самое, что должно неминуемо привести к торжеству справедливости…

Впрочем всё закончилось мирно. Последствием разговора было то, что Зубровод перелез в загон через изгородь и, ловко орудуя широко расставленными руками, а также увесистой палкой, принялся теснить Рума в узкий проход-коридорчик, который, как затем оказалось, заканчивался тупиком: был перегорожен двумя жердями. Перед ними, примерно на уровне земли, находилась дощатая платформа. Это были обыкновенные весы, на которых взвешивают животных, безобидное сооружение. Но ведь Рум этого не знал. Вот почему, очутившись внезапно в узком тупике, где Рум не мог даже повернуться, он опешил от неожиданности, почувствовал себя обманутым, загнанным. В тот миг он готов был разнести в щепки платформу и весь тупичок. Но жерди поспешно отодвинулись в сторону и пропустили его — их

вытащил Зубровод, так как дело уже было сделано. Учёный записал в книжечку вес Рума и удалился.

Учёный редко входил в загон к животным, сам почти ничего не делал, но после его посещений в жизни бизонов и зубров всегда наступали какие-либо события, перемены. А Рум не любил перемен.

Рум отлично запомнил этого юркого маленького человечка и для себя на всякий случай решил, что лучше всё-таки его избегать.

Окончательно укрепило его в этой мысли вот какое событие: в один из дней, когда животные по сигналу трубы явились к кормушкам, на дороге за изгородью они увидели необычный зелёный фургон на толстых резиновых колёсах. От грузовика-фургона несло тошнотворным бензиновым запахом, возле него стояла кучка незнакомых людей, среди них и Учёный. Люди эти, казалось, нарочно не обращали на зубров никакого внимания — негромко переговаривались, курили. Тем временем Зубровод привычно наполнил кормушки — сперва бизону, потом всем остальным. Но в первую из кормушек он незаметно подложил круглую большую таблетку — снотворное. Люди возле фургона, оказывается, только и ждали, когда сонного бизона можно будет погрузить в машину. Едва он отошёл от кормушки, ноги его будто сами собой стали подкашиваться, и вот уже эти люди без особенных усилий загнали бизона по наклонным мосткам в фургон, где он рухнул на пол.

Всем этим руководил человек-гриб, распоряжавшийся людьми, подававший команды. Он же велел Зуброводу отогнать других зубров подальше, что тот и выполнил. Но то ли Зубровод был сегодня не в духе, то ли ему было жаль расставаться с бизоном, к которому привык, он всё это выполнял с неохотой и даже с какой-то ленивой злостью, отчего, вероятно, Руму и досталось по боку палкой, хотя он, кажется, ни в чём не провинился. Что поделать, так бывает: вымещают злость не на том, кто действительно виноват, а на том, на ком проще, доступнее выместить…

Куда и зачем увёз бизона зелёный фургон — этого Рум, конечно, не знал. (Читатель же узнает об этом позднее.) Не знал и того, что тот больше не вернётся в питомник, а его место в стаде займёт чистокровный молодой зубр. Это само по себе не тревожило Рума — он был достаточно взрослым и самостоятельным, отец и мать давно перестали интересоваться своим детищем. Но когда кого-то из стада запихивают в фургон и зачем-то увозят — это, разумеется, неприятно.

В этот вечер Зубровод угостил его ломтём чёрного хлеба с

солью и долго чесал за ухом. А если бы Рум мог понять, о чём говорили между собой Учёный и Зубровод, стоя перед загоном в двух шагах от него, без сомнения, ещё более изумился бы.

Но об этом будет рассказано в своё время…

6

История зубров и бизонов, если проследить её с далёких доисторических дней до наших, есть история истребления человеком этих огромных и красивых животных.

Некогда, как полагают учёные, первобытные зубры десятками, даже сотнями тысяч населяли пространства Европы и Азии, всю теперешнюю Сибирь, вплоть до Тихого океана. Эти миролюбивые, но не робкие от природы создания обитали в лесах, выходили пастись на опушки, не боялись ни жестоких морозов, ни зноя. А враги… ну кто из зверей, спрашивается, мог для них быть опасен?! Разве только гиганты-мамонты… Ну да, ведь зубры жили ещё во времена мамонтов!

К счастью, мамонты тоже не были хищниками, первыми не нападали ни на кого.

В лесах зубры жили небольшими стадами, верней, семьями — бык, с ним несколько взрослых зубриц, молодняк лет до двух. Становясь постарше, молодые отделялись от родителей и начинали жить самостоятельно.

В лесу от деревьев тесно — особенно не разгуляешься, не побегаешь. Зато в степи — простор, места сколько угодно. Вот и вышло, что степные бизоны и похожи и не похожи на своих лесных родственников, на зубров. Зубр сильнее, зато у бизона ноги быстрее. Бизон вскинет голову и увидит всю степь, до самого дальнего края. А зубру в лесу от такого отличного зрения толку было бы мало: всё равно за деревьями ничего не увидеть. И пасутся бизоны совсем не как зубры: по сто, по двести бизонов в стаде! А такие же огромные, грузные, обросшие шерстью, как зубры. Недаром про них говорили, что когда стадо бизонов мчит по прериям, американским степям, то дрожит земля.

Задали зубры с бизонами людям загадку: как получилось, что ближайшие родственники оказались на разных материках: зубры — у нас, а бизоны — в Америке? Неужели смогли переплыть океан?

Дело в том, говорят учёные, что переплывать им было не нужно: много тысячелетий назад на месте нынешнего Берингова пролива был узенький перешеек. По нему часть животных перешла с Камчатки в Америку.

А другие предполагают, что они перебрались по льду: в особенно лютые зимы пролив сплошь забит льдинами.

В Америке животные поселились в прериях тёплых степях, где вдоволь сытной травы. Вот откуда взялись они здесь, степные бизоны…

Среди зверей бизоны и зубры не имели опасных врагов. Но вот люди…

Ещё первобытные охотники охотились на них и на мамонтов — с камнями, дубинками, копьями… Набегут толпой, загонят в яму, а потом празднуют праздник: вон какую гору мяса добыли — все теперь будем сыты! Шкура тоже небось пригодится — на одежду, на одеяла… Хотя и тяжёлая, зато прочная и тёплая.

Мамонтов скоро перебили, но зубры ещё водились — очень много их было.

А наверно, случалось и так: раненый зверь нападал на обидчика, поднимал на рога, топтал ногами… Опасное было дело — охота, а как без неё прожить? Люди ещё не умели сеять — не умели выращивать урожай; и ещё не умели приручать диких животных — ни кур, ни свиней, ни коров, ни лошадей у них не было. Но и потом, когда всё это уже было, люди продолжали охотиться. Они придумали порох и ружья, и охота стала куда проще и безопаснее. Теперь зверю не убежать — пуля догонит.

Сначала охотились, чтобы с голоду не умереть, а потом понравилось, стало привычкой.

В недавние времена графы, князья охотились для развлечения: кто больше зверей убьёт? Чего уж тут хитрого — на конях, со сворой злых псов, с меткими ружьями!..

Сто лет назад в Америке водилось пятьдесят миллионов бизонов, теперь их почти не осталось: перестреляли.

Чем больше охотников — тем меньше бизонов и зубров. Остался доживать в зоопарке за железной решёткой то ли зверь, то ли просто диковина — корова горбатая. А это — зубр, один из последних. Шерсть клоками свисает. Грязный, скучный, стоит посреди клетки неподвижно. А вокруг любопытные глазеют… В соседней клетке томится винторогий козёл, дикий родственник нашей козы. Дальше — горный баран-архар. Для архара сделали горку из булыжников. Он взберётся на горку, потом спустится, потом снова взбирается вот и есть у него занятие, да и людям смотреть интереснее.

Вообще в зоопарке клеток много. Где-то среди других затерялся невысокий коренастый конёк — с виду обыкновенная лошадка, только грива коротенькая и торчком. На табличке написано: «Дикая лошадь Пржевальского…» Где-то славные курочки и петушки — не домашние, а ещё не приручённые переступают с лапки на лапку, клюют зёрнышки, им и горя мало, что вокруг сетка из проволоки: лишь бы корму хватало. А ещё дальше бегает из угла в угол без передышки, ищет выход из клетки лесная собака — волк. Голову пригнула, на людей не смотрит. На полу кусок мяса валяется, а она не ест…

— Чует серый, что плохо дело, — ухмыльнулся кто-то возле клетки.

А старушка, что рядом стояла, неожиданно вступилась за волка:

— Если б не этот серый, может, и собаки бы не было… Чего зря насмехаться…

А ведь и правда: это они, обыкновенные коровы и лошади, козы, овцы и куры, помогли людям выжить когда-то. С тех пор как человек приручил диких животных, стал пользоваться их шерстью, мясом и молоком, с тех пор как подружился с собакой, он почувствовал себя куда увереннее на свете. Больше он не останется голодным — даже если никого не убьёт на охоте. И сможет защититься от холода тёплой одеждой. В дороге его повезёт быстроногий, выносливый конь. А дом будет надёжно охранять верный пёс. Это им, диким приручённым животным, мы обязаны тем, что одеваемся в красивые вязаные свитера, спим под шерстяными одеялами, по утрам пьём молоко… Чем же мы им за всё отплатили?

С волками-то, может, ничего другого и не поделаешь — режут овец и телят, иногда нападают даже на человека. А вот, скажем, зубры — кому они помешали? Если и дальше так будем охотиться где попало и сколько попало стрелять, — скоро вовсе не останется на земле ни зверя, ни птицы…

Люди договорились между собой: охотиться не всегда, а только в определённые месяцы. Редких животных не трогать. И ещё — объявить заповедники, где охоту совсем запретить.

Хорошо, а что всё-таки будет с зубрами? Произошли же когда-то коровы от диких животных. Что, если попробовать наоборот: загнать стадо коров в лес подальше — пусть там дичают…

Ничего не получится — наши коровы без нас не проживут. Зимой для них нужно сено: кору и ветки деревьев они разучились есть. А чтобы они не простуживались в мороз, им нужны тёплые коровники: шерсть у коровы совсем короткая. Чем же они провинились перед нами, за что мы их будем мучить? Даже если бы две или три из них чудом уцелели и привыкли снова обходиться без человека — жить в лесу, находить себе пропитание, к тому же обросли бы густой длинной шерстью, — это были бы вовсе не зубры, а просто одичавшие коровы. Ведь сколько собака ни дичай — всё равно она не волк; кошка, хоть вовсе отбейся от дома, всё равно не будет рысью…

Люди попытались спасти оставшихся в живых зубров. Из разных зоопарков их собрали и привезли в заповедник, в лес. Среди них было и несколько бизонов. Огородили для животных

просторные загоны, чтобы им здесь никто не мешал и чтобы можно было за ними вести наблюдения — подкармливать, лечить, помогать им… И случилось как будто чудо: животные, которым угрожала скорая и мучительная смерть, ожили, у них появилось потомство. Сначала в питомнике их было меньше десятка, а спустя десять лет — уже несколько сотен.

Рум родился в питомнике, когда там уже было достаточно населения, и он чувствовал себя среди своих братьев, сестёр и всех остальных животных и среди вольной природы заповедника так, будто находился на полной свободе. Он рос, набирался сил и привыкал к человеку, подчинялся тем же законам, что и его тысячелетней давности предки, и прислушивался к голосу медной трубы — в неё трубил Зубровод, созывая зверей к кормушкам. Впрочем, звук трубы — слишком громкий и резкий — был ему неприятен, и если он и спешил на её зов, то лишь для того, чтобы тот скорей прекратился.

Но он даже и не подозревал, что возможна иная жизнь, иная свобода — не ограниченная даже самым просторным загоном, без трубы, без кормушек и без людей, и что его предки когда-то именно так и жили…

7

Время шло. Рум из телёнка всё более превращался в могучего взрослого зверя. Грудь и плечи его раздались, голова сделалась ещё тяжелее и больше и была постоянно опущена, отчего горб выделялся заметнее, тёмно-бурая шерсть курчавилась, словно её завивали для красоты. Его ноги казались, быть может, слишком короткими для такого массивного туловища, зато бугры мускулов, которые перекатывались при каждом движении, свидетельствовали об их необычайной силе и выносливости.

Минуло в его жизни второе лето и вторая зима, и всё же он отличался от диких лесных животных, выросших без участия человека.

Рум видел лошадь и видел собаку — рыженькая лохматая собачонка, иногда прибегавшая с Зуброводом, жалась к ногам хозяина и заливалась озлобленно-трусливым лаем при приближении зубров, — оба эти четвероногие были слугами человека.

Но видел Рум и других. По деревьям сновали белки, которые не боялись человека, но и не доверяли ему, предпочитая оставаться на расстоянии, — шелушили свои шишки или просто сидели на ветке и цокали языком. Между прочим, Руму казалось, что они его дразнят, пользуясь своей недосягаемостью.

Зато бобр, обитавший в ручье, при виде человека немедленно скрывался куда-то, а вот Рум мог не раз наблюдать, как тот, выйдя на сушу, отжимает свою блестящую шубку или быстрыми зубами подгрызает стволы осин — бобр его не пугался, продолжал своё дело, когда Рум стоял на другом берегу или даже спускался к воде напиться.

Были здесь ещё крикливые сороки и сойки, чёрный дятел, целыми днями наполнявший воздух однообразным стуком, много других птиц помельче. В обилии водились лесные мыши и землеройки. Но это были существа совсем крошечные по сравнению с зубробизоном, и жизнь их была иной — заполненной мелкой суетой, копошением, писком, важными только для них заботами — Рум обычно не замечал их присутствия.

Однажды — это случилось ещё зимой, в феврале, — он встретился с незнакомцем, который не уступал ему ростом, разве только был стройнее и легче.

Лосиха стояла за стогом, и поэтому Рум её не заметил, пока не столкнулся нос к носу. Он отпрыгнул, а она, не успев вытащить длинную, узкую морду, по самые глаза увязшую в сене, негромко и дружелюбно фыркнула, будто приглашая его тоже поесть.

Вдали послышался скрип полозьев по снегу, человеческий голос, и лосиха насторожила чуткие уши. В несколько громадных прыжков она оказалась возле высокой изгороди, без остановки перемахнула через неё, словно летать по воздуху было для неё так же привычно, как ходить по земле, лёгким пружинистым шагом вошла в лес и скрылась между деревьев.

Зубровод, привёзший свежего сена, отчего-то особенно пристально разглядывал следы на снегу и лосиный помёт и, видно, остался недоволен.

— На всех-то не напасёшься! — ворчал он, ровняя вилами стог. — Ишь долгоногий пронюхал!..

Рум догадался, что Зубровод был недоволен лосихой.

Но сам Рум не испытывал к ней ни злобы, ни ревности: корму для него хватало, и он был всегда сыт.

Лоси среди зимы продолжали появляться в питомнике, держась особняком и избегая людей но, кажется, никто из зубров не был этим обеспокоен, вчуже поглядывая на каждого такого пришельца. Что они делают там одни, в дикой чаще, эти странные лесные звери? Почему боятся человека? Почему не хотят здесь оставаться? Многое было для Рума загадочным. Впрочем, для других зубров тоже, потому что тому, кто успел познакомиться с человеком и вкусить от его щедрых милостей, почувствовать над собой его власть, тому трудно отвыкнуть от всего этого. И почти невозможно понять другого, свободного зверя. Об этом в своё время и говорили между собой Учёный и Зубровод, стоя перед загоном, где находился Рум.

Впрочем, говорил, как уже нам известно, первый, а второй слушал.

Речь Учёного сводилась к тому, что зубры в питомнике могут вырасти слишком ручными, домашними и что этого следует опасаться. Опасаться же следует потому, что, домашние, они не захотят жить в лесу, а станут выходить в посёлки, в деревни, когда окажутся на свободе. И что могут перепугать в деревнях людей, разогнать скот. Разучатся сами находить себе пищу, а будут надеяться только на человека. И от этого самим зубрам придётся не сладко… Он говорил ещё много справедливого, из чего решительно следовало, что пора выпускать животных на волю. Особенно тех, кто постарше.

Ещё он говорил о том, что не стоило смешивать зубров с бизонами. Потому что бизоны — степные, из прерий, а нам нужны зубры, которые смогут прижиться в лесу… Пусть бизоны по-прежнему остаются у нас в зоопарке. (Так вот для чего приезжал зелёный фургон!..) И вообще — чистокровные зубры ценнее… Он был недоволен, что всё так случилось… Но раз уж

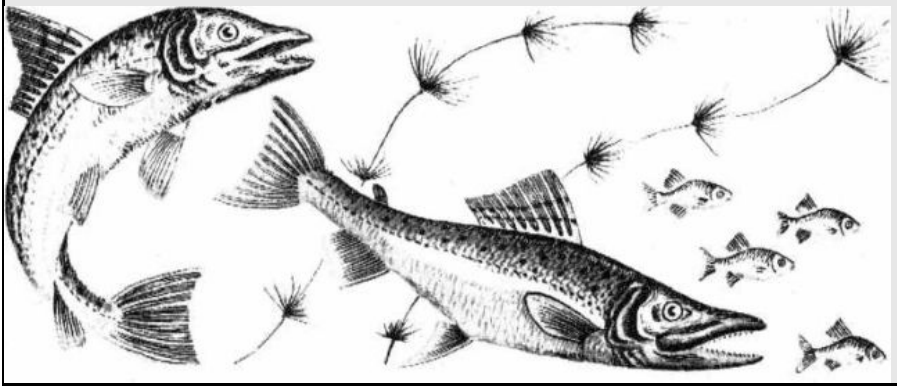
случилось…

Рум стоял за изгородью и, казалось, внимательно слушал, о чём говорили люди. Он, конечно, не понимал, не догадывался — о чём. А если бы даже догадывался — что с того?! Ведь он был живой, и для него не имело значения — чистокровный он или нет, зубробизон или зубр. Он также хотел дышать этим воздухом и видеть вокруг себя этот лес и эти лесные поляны, жевать горьковатые плети осины или нежные листья травы и чувствовать под ногами твёрдую землю, а над головой только небо — единственное, что не изменилось с тех пор, когда Рум впервые открыл глаза и увидел его!.. Многое изменилось, но не это…

И когда наконец перед Румом распахнулись ворота, чтобы он мог идти куда хочет, он сначала не понял, для чего они распахнулись. Но когда поднажали другие и когда Зубровод швырнул палкой и крикнул: «Ну, пошёл же!.. Пошёл!..» — он понял, что надо идти. И пошёл, больше уже не останавливаясь. Он не видел, что человек ещё долго стоял у ворот и глядел ему вслед, словно запоминая, прощаясь…

С того самого дня началась для него другая, новая жизнь — жизнь свободного зверя, чудом выжившего, спасённого человеком, возвращённого им природе. Но, как ни странно, за это чудо Рум не испытывал благодарности ни к кому. Может быть, потому, что если бы он не выжил, не был спасён и вообще никогда не появился на свет, то вовсе не мог бы испытывать никаких чувств: ни боли, ни радости, ни голода — ничего. А если уж этого захотелось кому-то — чтобы он появился, — то он теперь тоже вправе хотеть: жить просто для того, чтобы жить! А что, разве это плохо?

Сказание о семге



Рыба же безгласна и безответна…

(Из старинной книги)

Приплыла к нему рыбка, спросила…

(Из другой книги)

1

Каждому своё: птице — небо, человеку и зверю — суша, а рыбе — вода. И у каждого есть свой дом, своя родина, у рыбы тоже есть — здесь когда-то появилась она на свет из икринки, здесь сновала мальком среди серебристых прохладных струй, среди водорослей и разноцветных камней, отсюда потом уплыла… Рыба ищет, где глубже, а что глубже моря на свете? Но приходит пора, и опять из-за тридевяти морей возвращается она к тем речным перекатам и отмелям, о которых, оказывается, не забыто: это память о родине спустя долгие годы привела её снова сюда. Теперь, в свой черёд, она вымечет здесь икру и даст продолжение жизни…

Так живёт сёмга: появляется из икринки в реке, подрастает, становится взрослой, а затем устремляется в море, в большую солёную воду, далеко от родных берегов — плыви куда хочешь.

И плывёт куда хочет: из Белого в Баренцево и дальше, в Норвежское море, к незнакомым холодным скалам, к чужим берегам — фиордам. Что манит её туда? Может, голос далёких предков, некогда обитавших в морях и лишь позже переселившихся в пресные воды? Или это извечная тяга всего живого и движущегося ко всему неизведанному, непознанному — охота к перемене мест? Или просто поиски пищи: море богаче реки, здесь найдётся чем поживиться… Никто до сих пор не ответил на эти вопросы. Но ещё, может быть, загадочнее — по каким таким знакам-приметам за тысячи километров от дома находит она дорогу к дому? Птицы, совершая свои перелёты, видят мир с высоты — леса, горы, селения, реки… А что рыба? Вода глубока и темна — даже звёзд разглядеть невозможно, в море нет дорог, как на суше. Где здесь север, где юг, где восток и где запад? Не отличить, плыви, не зная куда…

И всё же она это знает — куда ей надо, потому что всегда безошибочно выбирает свой путь. Это тем более удивительно, что сёмга в здешних местах прежде никогда не бывала — только раз в жизни совершает она этот путь. Редко какой из рыб посчастливится его повторить.

Но вот она, кажется, у заветной цели. Ещё в море, но уже близ родных берегов. Позади преграды, опасности, бури, которые пришлось ей одолеть. Их было немало, и рыбе пришлось нелегко. Из тысячи, может, только одной удалось уцелеть и вернуться. Вернуться? Но ведь ещё предстоят испытания в реке. Дорогу, правда, искать уже не придётся, но здесь, в реке, её поджидают другие злоключения…

Попробуем же проследить путь хотя бы одной из рыб: от икринки до большой взрослой сёмги, от малой реки до огромного моря, от моря до родины…

Жила рыба в воде. И это была большая сильная рыба. У неё были плавники и хвост, чтобы плыть, жабры, чтобы дышать, глаза — глядеть, рот и зубы — хватать добычу. И она так и делала: плавала, дышала, глядела, хватала, — так она и жила, и ей это нравилось. А когда пришёл срок и бокам её стало невмочь от свежей тугой икры, которая в ней поспела, она отыскала в реке место с ровным галечным дном и принялась копать глубокую яму — коп.

Так вот для чего ещё годились её плавники: оказывается, не только для того, чтобы плыть! Работая ими, она глубже и глубже зарывалась в сыпучую гальку, будто собиралась сама себя закопать в этой яме. Вокруг на почтительном расстоянии толпились рыбы помельче — несколько краснопёрых хариусов, большеротая щука, ерши, налимчики… Они уставились на неё, выпучив пуговицы-глаза, будто чего-то ждали.

В сторонке, в любую секунду готовые ускользнуть от опасности, укрыться под боком ноздреватого валуна или в чаще речной травы, суетились мальки — такие маленькие и похожие друг на друга, что почти невозможно было определить, из кого кто получится, когда малёк подрастёт.

— Откуда взялась эта рыбища в нашей реке? — шептались хариусы.

— Мне кажется, что это сёмга, о которой нам столько рассказывал дедушка Лим, — сказал один налимчик другому.

— Значит, она явилась сюда из самого моря?..

— Какая огромная!.. Она всех может съесть! — осмелился высказаться малёк похрабрее, приблизившись к взрослым рыбам.

— Глупец, сеголеток, [1] — разинула щука пасть, полную острых, как сапожные гвозди, зубов.

Малёк так и отскочил от неё подальше.

— Настоящая сёмга питается только в море, — продолжала щука. — А к нам в реку приплывает она для того, чтобы метать икру, вкуснее которой нет ничего на свете! — И щука застыла с разинутой пастью.

А малёк — ему действительно было всего несколько месяцев от роду, — малёк теперь уже издали, притаившись в тени прохладного камня, в испуге следил: неужели они, эти рыбы, и правда собрались здесь для того, чтобы полакомиться сёмужьей икрой?! Он ведь и сам лишь недавно вылупился из полупрозрачной икринки — пусть это была икринка не сёмги,

пусть обыкновенного окуня (и об этом он уже знал: когда вырастет, он станет окунем), — и у него на глазах из таких же точно икринок появлялись такие же точно мальки, его братья и сёстры. Он помнил об этом, а они, взрослые рыбы, наверно, забыли? И они станут есть ещё не родившихся? «Подождите, опомнитесь, так нельзя!» Но никто его не услышал.

Сёмга тем временем продолжала копать.

Вдруг что-то гибкое, сильное промелькнуло над рыбами сверху, а затем ворвалось в их круг, расшвыряло самых нетерпеливых и жадных. Даже щука попятилась, а налимчики бросились врассыпную.

Это был Крюк — сёмга-самец, красавец с устремлённой вперёд головой и грозным кривым отростком, выпиравшим из нижней челюсти вверх. Из-за этого отростка-крюка он был похож на сказочного Единорога. А золотыми и огненно-ржавыми пятнами на чешуе напоминал Дракона, изрыгающего огонь. Но только никакого огня он, конечно, не изрыгал.

И вот сёмга уже кончила коп — получилась отличная яма. Но что с ними случилось? Сёмга принялась изгибаться дугой, бить хвостом, тереться брюхом о камни. То же самое повторял за ней Крюк. Глаза у обоих казались невидящими. «Неужели они обезумели? — с ужасом наблюдал за ними малёк из укрытия. — Почему же другие рыбы делают вид, будто всё так и надо, и только теснее сдвинулись и ждут, как прежде?..» Но раньше чем он успел догадаться о чём-то, из-под раздутого брюха сёмги появилась цепочка ярко-оранжевых икринок и соскользнула вниз, в яму. Вслед за икринками устремилось молочное облачко, которое выпустил Крюк…

Всё новые и новые икринки ещё долго выкатывались из-под сёмги. И долго ещё — целый час — оставался на месте Крюк. Но уже немало икринок, подхваченных резвыми речными струйками, пронеслось мимо копа, — на них с голодной жадностью накидывались щуки, налимчики, хариусы. Каждая рыба старалась опередить другую, догнать и схватить побольше оранжевых шариков. Часть икринок снесло течением в пенистый водоворот, где они бесследно исчезли. Лишь горстка уцелевших сиротливо поблёскивала на дне просторного копа. Зато эти, самые драгоценные, — будущее потомство северного морского лосося, как иногда называют сёмгу.

Тут сёмга хвостом обрушила в яму несколько гладких камешков, и они упали рядом с икринками, едва не задев их. «Однако она и сама неосторожна», — с досадой заметил малёк. Он всё ещё беспокоился за уцелевшую горсточку. Самец Крюк к тому времени куда-то уплыл, а сёмга едва шевелила плавниками

и казалась смертельно уставшей. Выходит, и большой рыбе это совсем нелегко — рыть коп, метать икру и видеть к тому же, как прямо у неё на глазах другие хищные рыбы уничтожают её детёнышей.

Но зачем она засыпала икринки камешками? Работала из последних сил плавниками, хвостом, стараясь скорее завалить коп, пока наконец над ним не вырос холмик из разноцветной гальки с песком. «Всё пропало, — решил малёк. — Теперь они все погибнут, задохнутся…» Он закрыл бы глаза, чтобы не видеть, но у рыб, как известно, глаза не закрываются вовсе. Даже когда рыба спит, глаза у неё открыты и всё вокруг видят. Он просто поплыл — лишь бы отсюда подальше, поскорее подальше! И больше мы с ним в нашей книге не встретимся, с этим славным мальком.

Зато познакомимся с другими мальками: ведь икринки, зарытые сёмгой, не погибнут. Сёмга знала, что делала: только здесь, под слоем песка и камешков, можно спрятать их от прожорливых рыб. Сейчас осень. А весной, к тому времени, когда пора вылупляться малькам, вода размоет песок и гальку над копом и выпустит их на свободу.

И так всё и было…

2

Море называется Белым.

Почему оно так называется — потому ли, что вода в нём светлее, чем в других чужедальних морях? Или, может, на волнах-взводнях пена белее? Нет, наверно, потому, что всю долгую северную зиму — месяцев семь в году — лежит оно подо льдом и снегом: всё белое, и у самого берега и вдалеке…

Зато многие реки, бегущие в Белое море, даже в лютую стужу не застывают, не замедляют бег: с камня на камень, с порога на порог скачет вниз бешеная вода, не позволяя неподвижному панцирю себя сковать.

Рыбе хорошо зимовать в таких реках: подо льдом иной раз наступает замор, не хватает кислорода дышать, а тут его — сколько хочешь.

По берегам стоит лес — одна к одной могучие, стройные сосны. Когда-то из таких сосен строили корабли, роща звалась корабельной. Теперь делают корабли из железа, только избы, как прежде, из брёвен.

Крепкие избы рубят здешние рыбаки-поморы. Высокие. Тёплые. Ставят посёлки возле рек, возле моря. А бывает, кто-то построит себе избушку вдали от людей и в ней живёт.

…Шёл я однажды по лесу и слышу — будто поезд по рельсам гремит. Откуда он взялся? До железной дороги не ближе ста километров!.. Пошёл туда, где гремит, а шум всё громче… Деревья стали редеть, и я вышел из леса. А это вот что: не поезд, а речной водопад, падун, словно каменный обрыв. Сверху камень, снизу камень, посередине тоже огромные серые камни-валуны. С верхнего поток бросается в пропасть, по дороге дробится на тысячи тоненьких струй, ударяясь о камни, превращается в водяную пыль. Солнце зажигает в этой пыли многоцветную радугу. И такой гул и грохот от падающей воды — собственного голоса не услыхать. Даже если кричать во всё горло.

Над верхним камнем показалось бревно — приплыло сюда по реке. И вот уже водопад подхватил его, словно щепку, закружил, поставил торчком, швырнул вниз, в самое бучило. Больше его не увидеть: может, и правда, одни щепки остались?

А всё же сёмга умеет не только плыть против течения, но и взбираться на падуны. Ей ведь надо дойти до тех мест, где она родилась, и метать там икру. Для чего именно там? Почему не выберет отмель удобнее, ближе к морю? Но об этом, наверно, знает только она сама. Знает — потому так и делает: остановится

на глубине, перед камнем, соберётся с силами — и пошла. А пошла — значит, изогнулась пружиной, ударила хвостом по воде и подпрыгнула метра на полтора в вышину, может, больше. И вот уже отдыхает наверху, копит силы перед новым прыжком.

О том, как сёмга взбирается на каменные пороги и падуны, мне рассказывал знакомый рыбовод.

Рыбовод живёт в жёлтой, словно капля смолы, избушке возле самого падуна. Он изучает повадки рыб.

Он берёт в руки длинную палку с прочной капроновой сетью-

мешком на конце. Эта сеть называется сак — вроде очень большого сачка для бабочек. Рыбовод прыгает с берега на широкий плоский камень, который торчит из воды, и опускает сак в реку. Палка уходит всё глубже, потому что там яма в реке. Любит сёмга в укромных местах отдыхать, хорониться в ямах. А рыбоводу это известно. Он для того и опустил в яму сак, чтобы поймать сёмгу.

Сёмга огромная — хвост торчит из мешка и не хочет в нём помещаться. Ей страшно! Она смотрит сквозь сетку круглыми пуговичными глазами. Для чего её вынули из реки?.. И внезапно прыгает в воду, обратно, да сак не пускает…

— Нет, голубушка, уходить ещё рано, — говорит рыбовод, расставляя ноги пошире, чтобы прочнее стоять на камне. Он ещё крепче сжимает палку в руках: если бы сёмга застала человека врасплох, она бы могла его утащить.

Рыбовод достаёт из кармана пластмассовую пластинку с надписью — метку, ловко прицепляет её к плавнику на спине.

— Вот теперь можешь плыть!

И сёмга с размаху плюхается в воду — словно длинная искра мелькает в воздухе.

По пути в избушку рыбовод рассказал мне, что недавно он поймал сёмгу с иностранной меткой. Эта рыба к нам приплыла из Норвегии. А дорога оттуда не близкая — две тысячи километров с лишком…

Ещё он сказал, что заметил у берега пестрятку — это значит, из прошлогодней икры уже появились мальки сёмги. И успели уже подрасти, покинуть укрытия на дне, где спасались от хищных врагов. Теперь будут плавать по всей реке, набираться сил.

3

Да, сперва её звали Пестряткой, и она в самом деле была такой праздничной, пёстрой, нарядной, словно принарядилась специально для первого выхода в реку: бока золотистые с поперечными полосами, плавнички желтовато-оранжевые, и повсюду, даже на хвосте, разбросаны красные пятнышки, как фонарики, которые горят и не гаснут. Впрочем, учёные люди сказали бы, что Пестрятка не зря выбрала именно этот наряд: на дне реки, где она жила, находились целые россыпи пёстро раскрашенных больших и малых камней, и такая окраска позволяла мальку в считанные секунды становиться незаметным, прятаться среди них. Но Пестрятка, конечно, не знала про то, что думали про неё люди, и, наверно, обиделась бы, узнав: в самом деле, разве стоит стараться лишь для того, чтобы стать похожей на неподвижные камни?! Скорее уж, не она похожа на них, а они на неё!

Она была молода, и так ей хотелось похвастаться своей красотой, нарядом!

Пестрятка заметила невдалеке гольца — рыбку, хотя и взрослую, но небольшую, пугливую, неприятно скользкую. Но так как поблизости никого больше не было, то она подплыла к гольцу:

— Скажите, пожалуйста, вы давно живёте в нашей реке? Ну, а как вы находите мой наряд?.. — И она завиляла хвостом, словно шлейфом, отчего «фонарики» засияли на нём ещё ярче.

Пестрятка хотела рассказать ещё многое: и о том, что она и дальше будет расти, хорошеть, и что сменит, наверно, и этот наряд, разумеется, на ещё лучший, но голец, ничего не ответив, юркнул под камень: он-то знал, что стоит Пестрятке ещё подрасти, и она станет безжалостно догонять таких же, как он, беззащитных рыбёшек. Таков уж закон их жизни: одни рыбы поедают других, большие и сильные — мелких. Ничего не поделаешь — приходится быть осторожным и даже пугливым…

А Пестрятка сначала обиделась на гольца: «Ох, какой невоспитанный!» Потом рассердилась: «Да он просто нахал! Надо его наказать для примера!» Но так как того и след простыл (в воде, как известно, следы простывают куда быстрей, чем на суше), то, долго о нём не раздумывая, Пестрятка обратила взор на другое: вверху, на границе воды и воздуха, там, где водяная крыша сверкала, словно зеркало, вдруг появилось несколько крошечных существ — без плавников, зато с длинными лапками и хвостами-ниточками. Они дёргали лапками и скользили по

крыше воды, едва прогибая тончайшую плёнку, но не проваливаясь. Пестрятка не сводила с них глаз и тоже поднялась вверх, поближе к странным уродцам. Они почему-то пустились от неё наутёк. Пестрятка решила, что её приглашают в игру, погналась за одним из них и — хоп! — сама не заметила, как тот очутился у неё во рту: рыбам ведь больше нечем хватать или просто «салить» в игре, и многое из того, что мы привыкли делать руками, им приходится делать только ртом. А уж когда личинка водяного насекомого (ими и были «уродцы») очутилась во рту, Пестрятка не смогла удержаться, чтобы не проглотить её. Затем она стала специально гоняться за оставшимися личинками и хватать их. Это было так интересно и так вкусно! Особенно если удавалось схватить сразу несколько штук. Пестрятка лишь удивлялась, почему она раньше не замечала их и не ела. Наверно, эти чудесные существа были созданы именно для того, чтобы служить кормом, — нежные, сочные, заманчиво-живые, не прекращавшие дрыгать лапками даже у неё во рту.

Когда охотничий азарт поубавился, а брюшко её раздулось от пищи, Пестрятка заметила невдалеке, слева и справа от себя, стайку таких же, как она, пёстрых сёмужек. Они тоже охотились за личинками и тоже успешно. Личинок оставалось уже немного, последние судорожно улепётывали к берегу. Впрочем, за ними больше никто не гнался, достаточно… И Пестрятка присоединилась к стайке своих же сестёр и братьев, вместе с ними направилась к подводной отмели, усеянной весёлыми разноцветными камешками. Там все они нежились в лучах летнего солнца, прогревавших эту отмель насквозь, пропускали сквозь жабры прохладную водичку и в блаженстве оттопыривали толстые губы. Но когда из-под ближнего камня показался какой-то неосмотрительный червячок, Пестрятка мигом и его схватила: она уже поняла, что чем больше ешь, тем приятнее жить на свете. К тому же она как чувствовала, что вслед за сытными днями бывает голод, бескормица, и поэтому, когда есть возможность, надо всегда наедаться впрок.

Лето она проплавала в той же стайке, вместе с другими пестрятками. Вместе жить веселее и надёжнее. Кто-то один заметит добычу — достанется всем. Кто-то заметит опасность, все немедленно бросятся врассыпную, попрячутся. Но затем непременно соберутся опять. Закон рыбьей стаи гласит: хочешь быть цел и хочешь быть сыт — делай то, что и все. Со стороны может показаться, будто кто-то невидимый крепко держит концы невидимых ниточек и с их помощью управляет рыбами: одна повернётся к берегу — все за ней повернутся; одна нырнёт в глубину — все нырнут… Ведь если надо бежать от врага или

преследовать добычу — тут раздумывать некогда. Таков закон стаи, и Пестрятка не хуже других научилась повиноваться ему.

В стае Пестрятка нашла и компанию по душе. Это были самые крупные драчливые рыбки. К тому же им нравилось верховодить, быть у всех на виду. А при случае и покуражиться вместе над каким-нибудь несмышлёным мальком. Компания с шумом принималась носиться по неглубокой бухточке, распугивая всех на пути. Затем окружала несчастную жертву — обычно это была совсем ещё неопытная рыбёшка, губошлёп, как её называли, — и тут начиналась потеха. Кто-нибудь первым, будто невзначай, пихал губошлёпа в бок и тотчас заносчиво спрашивал: чего тот толкается? Губошлёп принимался доказывать, что и в мыслях-то не имел подобной дерзости. Тогда кто-то другой выговаривал ему за обман и в свою очередь проплывал от него так близко, что губошлёп шарахался в сторону. А там уж его поджидал третий, давая «сдачи». Бедный малёк не знал, куда деваться, а те только пуще расходились. Наконец, натешившись, компания отпускала рыбёшку, и она стремглав мчалась прочь. А кое-кто из шутников делал вид, будто собирается её преследовать.

Сначала Пестрятка неохотно участвовала в подобных забавах: ей было жаль беззащитного глупенького малька. Но постепенно привыкла. В этих играх подростки-сёмги готовились к настоящей охоте за настоящей добычей. Теперь, увидев гольца, Пестрятка не стала бы с ним заводить разговоров. Несдобровать бы ему, как случилось уже не раз с другими такими же крошечными рыбёшками.

К осени она была величиной уже со среднего пескаря.

«Мне бы стать совсем взрослой», — мечтала Пестрятка.

«А что они делают, взрослые сёмги? Почему их не видно в реке?» — задумывалась она.

— Они плавают в море, — отвечали ей те, кто был старше и опытнее.

— В море? А что это такое?

— Это где много-много воды и нету дна.

— Там яма? — удивлялась Пестрятка.

— Да, такая огромная яма без берегов… И вода в ней солёная.

— Для чего солёная? — ещё больше удивлялась Пестрятка. — Кто её посолил?..

На такие вопросы даже самые умные рыбы ничего не могли ответить, и они возмущённо оттопыривали губы, будто просто не желали разговаривать на глупые темы. А кто-то сказал Пестрятке, что и она, когда станет взрослой, отправится в море.

— Для чего? — не поверила Пестрятка. — Мне и здесь

неплохо.

Но про себя уже мечтала о море. «Ах, мне бы только попасть туда», — вздыхала она. А те, кто не знал, отчего она вздыхает, думали, что оттого, что светлый день становится всё короче и вода в реке всё холоднее — снова осень.

Этой осенью она впервые увидела взрослых сёмг. Они поднимались вверх из-за каменного падуна, к которому Пестрятка не решалась даже близко подплыть — такой он был огромный и страшный: подхватит, закружит, шваркнет головой о камень — и кончено… Но взрослые сёмги плыли. Они плыли метать икру на своих родных плёсах — бесстрашные, сильные! Рядом с ними Пестрятка чувствовала себя такой маленькой и невзрачной. Правда, выметав икру, сёмги делались вялыми, скучными и спешили уйти в своё море. «Значит, море даёт им силу, и смелость, и холодный блеск чешуи, как кольчуги», — решила Пестрятка.

— Возьмите меня с собой, — попросила она одну из таких рыб, уже кончившую метать икру и теперь скатывавшуюся по течению вниз.

— Плыви, если сможешь, — прохрипела в ответ равнодушная сёмга.

Но другая, услышав эти слова, поспешила предостеречь Пестрятку:

— Ты ещё слишком мала… Ты отстанешь от стаи… Первый же встречный тюлень и даже тюленёнок сожрёт тебя…

Возможно, Пестрятка не прислушалась бы к голосу разума — когда чего-нибудь хочешь очень сильно, меньше всего прислушиваешься к чьим-нибудь голосам, даже доброжелательным, — но, подплыв к падуну и заглянув краем глаза в косматую бездну, она отпрянула в ужасе: да, видно, взрослая сёмга права, если и это препятствие, самое первое, рождает такую робость в душе…

Пестрятка успела заметить лишь, как мелькнули в пенистом водовороте два широких хвоста, две сёмги — и скрылись навсегда.

— Прощайте!.. Мы ещё встре!.. — но даже сама не могла расслышать того, что кричала.

…Зима выдалась суровая, морозы хотя и не могли сплошь сковать порожистую реку, но в заводях возле берегов лёд был толст и держался до поздней весны. А весной Пестрятку, дремавшую на дне илистой ямы, разбудил гром. Гроза в это время года была в здешних краях необычным явлением, и все обитатели реки с тревогой прислушивались к далёким раскатам, не смолкавшим весь день и доносившимся по воде гораздо

отчётливее, чем по воздуху. Они не знали, что это грохочет не гроза, а взрывчатка, при помощи которой люди перегораживали реку в верховье, чтобы строить гидроэлектростанцию.

Через несколько месяцев взрывы стали раздаваться ещё ближе, и это было ещё тревожнее…

4

Прежде поморские рыбаки освещали избы лучиной. Летом на Севере светло круглый день, зато осенью и зимой солнышко — гость ненадёжный, недолгий. Поджигали смолистую тонкую щепку, вставляли в железную подставку-светец, снизу пододвигали корытце с водой, от пожара. Чаду много, а свету всего несколько слабеньких бледно-жёлтых лучей, оттого и название: лучина. Кто побогаче — заводил у себя новомодную лампу, в которой горел керосин. Об электричестве в далёкие времена не то что мечтали — слыхом не слыхивали.

В наше время инженеры обратили свой проницательный взгляд на порожистые северные реки. Оказывается, можно использовать речные водопады, чтобы получать электрический ток: надо только загородить реку плотиной, чтобы вода не растрачивала своих сил впустую, а вращала стальные колёса турбин…

Взрывы, которые доносились по воде, и помогали людям строить плотины: один такой взрыв поднимал с берегов и обрушивал в реку целую гору камней и земли. Оставалось укрепить её железобетоном, чтобы не размывала вода, установить турбины и генераторы, которые дают электричество, и пустить это электричество в провода: пусть освещает дома, гонит поезда по рельсам, заставляет работать станки на заводах…

На реке, где родилась и жила Пестрятка, решено было строить не одну, а подряд несколько гидроэлектростанций: возле каждого большого порога-водопада.

— Электричество — это хорошо, даже очень! Но как будут жить рыбы? — встревожились северяне-поморы. — Возвратится сёмга из дальнего странствия к родной реке, а перед ней стена-плотина — ни пройти, ни обойти, ни перепрыгнуть. Помыкается, помыкается и уйдёт метать икру к далёким от нас берегам. А уж те сёмужки, которые родятся не в наших водах, к нам больше не приплывут. Как же мы, рыбаки, без рыбы останемся?

На помощь пришли учёные-рыбоводы.

— Нужно, — сказали они, — построить в реке канал в обход плотины. А ещё — рыбоводный завод: сёмгу, которая не захочет идти в канал, поймать, взять у неё икру, а у самцов — молоки. Из этой икры можно самим получать мальков. Через несколько лет, когда подрастут, выпускать на свободу — здесь же, в устье реки. Вот и станут возвращаться не куда-нибудь, а сюда: для кого — рыбоводный завод, а для них — родина…

Этот завод совсем не похож на другие: никаких станков и

машин, ни шуму, ни дыму. А только большие круглые чаны с водой, врытые в землю, — в них разводят мальков. Чаны сделаны из бетона, вода в них речная, проточная — по трубам приходит.

За мальками ухаживают, кормят их яичным крутым желтком, червячками, личинками, а когда подрастут — то и мясом.

— Очень это не просто — вырастить сёмгу, — говорят рыбоводы, которые здесь работают. — Глаз да глаз нужен: чтобы вода всегда была свежая; чтобы не слишком холодная и не тёплая — по градуснику следить; чтобы мальки не болели, а кто заболеет — отсаживать от остальных… Надо знать, когда малькам давать нежную пищу, а когда — погрубее, знать всех их врагов и когда, наконец, выпускать сёмужек в реку…

«Пожалуй, самое трудное — брать у взрослой сёмги икру, — подумал я. — Ведь икринки такие маленькие, их легко повредить. А тогда и мальки не выведутся…»

— Икра — это что! — сказали мне рыбоводы. — Икру сёмга отдаёт нам легко. Вот вырастить сёмужек — это труднее…

Гидростанции ещё только начали строиться на реке, а рыбоводный завод был уже готов. Так надо, чтобы сёмга, напуганная взрывами, не успела уйти и отвыкнуть от родных берегов. Теперь рыбоводный завод должен стать её родиной.

5

К середине второго лета она начала менять свой наряд: спинка её потемнела, брюшко, наоборот, стало светлым, а бока — серебристыми. Теперь это была уже не Пестрятка, и звать её стали по-другому — Серебрянкой.

С утра до вечера Серебрянка рыскала по реке в поисках пищи, и новый наряд оказался просто замечательным: в нём было так удобно подкрадываться к добыче! Серебрянка не брезговала ничем — ни случайно свалившимся в реку комаром или мухой, ни личинкой водяного жука, ни каким-нибудь нерасторопным мальком (мальков она теперь пожирала всего охотнее), но всё равно почему-то оставалась голодной. Дело в том, что она росла, а чем крупнее становится рыба, тем больше надо ей пищи. Голод делал Серебрянку всё изощрённей в охоте. И она с каждым днём становилась крупнее, сильнее, прожорливее. С виду взрослая сёмга, только всё же не взрослая, и уже не малёк, а молодь.

Между тем всё труднее было прокормиться в реке. И всё ближе раздавались взрывы. Серебрянка миновала несколько небольших порогов, двигаясь вниз по течению. Она обходила быстрину, держась возле берега, и, точно взрослая сёмга, отстаивалась после порогов на дне ям. Наконец достигла того самого падуна, перед которым не раз останавливалась. Она всё ещё не решалась приблизиться к ревущим камням, возле которых кружились белопенистые воронки. Но тут помог случай. Огромная, как коряга, щука выплыла из прибрежной травы и уставилась на Серебрянку. Старой хищнице, наверно, казалось, что она может не спешить: мелкие рыбёшки обычно цепенели на месте, будто загипнотизированные её взглядом, — подплывай и бери! Она лениво повела плавниками, предвкушая поживу, но на этот раз просчиталась. Её появление только прибавило решимости Серебрянке, и та — чем пропадать ни за что в желудке у щуки! — ринулась вперёд. Мгновение — и поток подхватил её, пронёс в стороне от камней и водоворотов, и вот уже зловещий падун позади.

Мимо, окружённую кружевными клочьями пены, проволокло изуродованную щуку: видно, погналась за Серебрянкой да угодила в самую «мясорубку»: завертело, стукнуло головой о валун, измочалило плавники…

Надо сказать, что, хотя Серебрянка и была сёмгой, ростом она оставалась с небольшого окунька — иначе щука не осмелилась бы на неё напасть.

Теперь Серебрянка продолжала свой ход к морю гораздо

смелее. Миновала ещё несколько больших перекатов, очутилась в широком устье реки, ещё через неделю наконец-то вошла в горьковато-солёную воду…

Море! Она мечтала окунуться в его простор, полный света, тепла, заслуженного ею покоя. Она так устала и проголодалась за дорогу!.. Море — это отдых и пища, подбадривала она себя в пути. Какое оно на самом деле?..

Всё оказалось гораздо суровее, чем она воображала.

Громадные волны набегали на берег и с шумом разбивались. Это был обычный прибой, но Серебрянке послышалось в нём чьё-то грозное предупреждение: «Берегись! Тут не шутят!» Она огляделась: никого, лишь угрюмая пустыня воды, лишь нескончаемые волны, мотавшие её вверх и вниз, из стороны в сторону, словно щепку.

Она поспешила отплыть от берега.

Здесь сразу шла глубина, сквозь толщу воды с трудом пробивался слабый свет с поверхности. Зато в зеленовато-бутылочной толще было спокойно, и шум волн, завывание ветра не доносились сюда.

Серебрянка почувствовала, будто стала гораздо легче, почти невесомой. Это приятное ощущение было вызвано тем, что солёная морская вода плотнее пресной речной и поэтому лучше держит.

Внизу — кромешная тьма, где-то сбоку сновали едва различимые тени — то ли рыб, то ли каких-то неведомых существ, но они были далеко. Голод всё сильнее давал о себе знать. Но чем здесь его утолить? В реке — известно: стоило поискать получше у самого дна, под камнями, и что-нибудь всегда удавалось найти.

Неужели, чтобы раздобыть еду в море, обязательно плыть к берегу, где бушует прибой?

Впрочем, она согласна плыть к берегу — дольше терпеть невозможно! Она погибнет голодной смертью, если сейчас же не схватит хоть что-нибудь!

Она поплыла навстречу мелькающим теням: будь что будет — или она найдёт пищу, или её съедят… Никогда в будущем она не вела себя в море столь безрассудно — ведь там могли оказаться акулы, или белуха — полярный дельфин, или серый усатый тюлень — морской заяц, а встреча с любым из них куда страшней, чем со щукой!

Но в тот момент ей было почти всё равно, и если бы даже свесился сверху на леске пустой рыболовный крючок, она немедленно проглотила бы крючок — лишь бы заглушить голод!

Ей повезло: это были не акулы, не белуха и не морской заяц,

а несколько сёмг, впрочем, гораздо старше и крупней Серебрянки, напавших на стаю песчанок. Сёмги уже распугали стаю и теперь гонялись за каждой рыбёшкой в отдельности, с ходу вонзали в живую песчанку зубы, рвали на части, а то и заглатывали целиком. Раньше Серебрянка пришла бы в ужас от подобного зрелища, но сейчас она не могла устоять и тоже, выследив самую мелкую остроносенькую рыбёшку, припустилась за ней, догнала, проглотила. Без промедления погналась за следующей… Она делала это молча, автоматически. Что поделаешь — так уж устроено в жизни рыб и зверей: чтобы выжить, приходится поедать того, кто слабее. И когда Серебрянка была достаточно сытой, ей уже не казалось таким отвратительным то, чем она только что занималась — она и другие сёмги. Во всяком случае, это было необходимо, потому что утоляло голод. К тому же она почувствовала небывалый прилив бодрости.

Наконец и старшие сёмги, видно тоже насытившись, заметили Серебрянку.

— Неужели, подруга, и ты собираешься к далёким фиордам?

— А что это такое?

— Послушайте, она не знает фиордов! Она не слышала даже про то, что на свете есть другие моря, кроме Белого! — рассмеялись взрослые сёмги.

— А что такое селёдка — тебе известно? — не без ехидства спросила Серебрянку одна из них.

— Оставьте её. Вы разве не видите — она малолеток и раньше времени выплыла из реки, — сказала самая старшая и рассудительная. — Ты не должна с нами плыть, — обратилась она к Серебрянке. — Поживёшь с годик здесь возле берега, подрастёшь, тогда и ступай в открытое море.

— Что такое? — не выдержала Серебрянка. — Только и слышу: «Ты ещё маленькая… Подрастёшь… Поумнеешь…» Надоело мне ждать! Разве я не одолела пороги в реке? Разве испугалась щуки? Или плохо охотилась на песчанок?.. В конце концов я сама так хочу — плыть туда, где полгода светит незакатное солнце, где становятся сильными и большими, куда стремятся все сёмги!..

— Вы слышите: она тоже кое-что знает, — начали перешёптываться между собою взрослые. — И быть может, не слишком глупа…

— Делай как хочешь, — сказала самая рассудительная. — Но запомни: никто тебе не поможет, если выбьешься из сил посредине пути, ждать тебя мы не станем; и никто не поможет, если вдруг нападёт тюлень, — каждый будет спасаться сам; вообще-то мы плывём не поодиночке, а вместе, но при этом —

каждый сам за себя. Таков закон рыбьей стаи.

И Серебрянка хорошо запомнила и этот закон.

Ещё месяц они провели в Белом море, готовясь к далёкому плаванию. Стая значительно увеличилась: к ней присоединялись всё новые сёмги, но и среди них Серебрянка оставалась самой юной и неопытной. Правда, за этот месяц она окрепла и узнала столько полезного, нового, сколько, быть может, за всю прежнюю жизнь в реке.

Подводные леса бурых водорослей сменялись лесами зелёных водорослей или полянками шелковистой травы — в водорослях обитали мальки других рыб. Прозрачные студенистые медузы шевелили щупальцами, покачиваясь на волнах, — они были несъедобны, но безвредны. В таинственной глубоководной тьме вспыхивали, передвигались, мигали красные и зелёные огоньки — кто зажигал их и для чего? — это было загадочно и немного пугало. Иногда наверху проплывали медленные льдины, не успевшие растаять за лето. Серебрянка всё время была в движении, и, быть может, от этого да ещё от солёной морской воды у неё разыгрался отменный аппетит. Она ела, охотилась, снова ела и за недолгое время заметно выросла. Но всё равно по, сравнению со взрослыми сёмгами оставалась недорослтком.

Всё короче становились дни, всё длиннее ночи. В сентябре косяк сёмг вышел из узкого Беломорского горла и направился к северо-западу, в море Баренца. Сёмги двигались плотным строем, впереди — самые крупные, сильные и выносливые. Они плыли вдали от берега, но вели стаю так, будто в точности изучили лоцию — описание моря, островов и проливов, мелей и впадин, описание безопасных путей и опасностей. По ночам свет далёкой звезды дрожал на чёрной воде, и могло показаться, будто этот неверный мерцающий свет, этот тоненький луч служит для них ориентиром или компасом. Но затем наступал день, звёзды гасли, а они по-прежнему следовали за незримым поводырём. И стоило головным слегка изменить направление, как вся стая немедленно повторяла тот же манёвр.

В Баренцевом море им впервые пришлось испытать настоящий, нешуточный шторм. Всё вокруг будто кипело, ветер и волны сшибались с пушечным грохотом, непроглядную мглу прорезали холодные сполохи зарниц. Сёмги ушли в глубину, но и здесь было немногим лучше: вода стала густой, жирной, как нефть, в ней трудно было плыть и дышать. Где уж там сохранять какой-то порядок — косяк растянулся, бесформенно расползся. Серебрянка оказалась с краю, в хвосте, но не жаловалась, держалась не хуже взрослых сёмг, хотя ей доставалось не меньше.

Так продолжалось несколько суток, а затем наступил штиль.

Море лежало умиротворённое, тихое, словно просило прощения за недавнее буйство. Потрёпанная штормом сёмужья стая приходила в себя, собираясь и сплачиваясь у песчаной отмели. Место это, как будто ничем не примечательное, тем не менее всегда привлекало рыбу, посещавшую его по пути в Норвегию. Но тут случилось событие, едва не ставшее роковым для Серебрянки…

6

Трал — это огромных размеров сеть, напоминающая мешок с двумя ушками. К ушкам привязаны два длинных каната, за которые сеть буксирует рыболовное судно-траулер.

…Траулер «Зуб Акулы» — неказистое, изрядно походившее за долгую жизнь судёнышко — вышел из одного Скандинавского порта неделю тому назад. «Зуб Акулы» годился для недалёких, недолгих плаваний, так как мог брать на борт лишь небольшой запас продовольствия и пресной воды для команды. К тому же на судне — не в пример современным красавцам траулерам — отсутствовал даже прибор для разведки рыбы в глубинах: эхолот, и поэтому тралить приходилось почти наугад, вслепую. Надежда была лишь на капитана судёнышка и одновременно его владельца — опытного морского волка.

В первый день улов превзошёл ожидания. Но начавшийся вслед за тем шторм загнал «Зуб Акулы» в пустынную бухточку, заставив там проторчать трое суток. Команда дремала в кубрике, хозяин пыхтел трубкой, подсчитывая убытки: с матросами он ещё кое-как рассчитается, но что достанется ему самому?.. Он знал, что после шторма удачи ждать не приходится: рыбные косяки обычно бывают растрёпаны, немногочисленны…

Капитан хорошо помнил одно безотказное местечко, где ловилось всегда. Но он также знал, что в последние годы ловить там запрещено. Если кто-то проведает, что рыболовное судно нарушает запрет, капитану не поздоровится.

…«Зуб Акулы» опустил трал за борт и поднял его пустым. Ещё раз — снова пустым. Капитан пристально вглядывался в горизонт — никого. И он принял решение…

Когда над отмелью послышался стук судового движка, стая метнулась в сторону моря, но поздно: половина её уже находилась в сетях.

Задние напирали на передних, передние и те, что с краю, пытались протиснуться сквозь узкие ячеи, но застревали в них плавниками и жабрами — ни вперёд, ни назад. Давка, неразбериха!.. Какая-то страшная сила тянула их за собой — сперва возле самого дна, а потом резко вверх. В суматохе Серебрянке удалось пробиться на край, и тут — о спасение! — она проскользнула в ячею. И лишь потому, что была мельче других…

Теперь, когда трал был набит битком, «Зуб Акулы» нехотя сбавил ход. Груз подняли на палубу, ссыпали в бочки, в трюм. Отборная рыба! «Только бы уйти незамеченным!..» — думал

капитан, владелец судёнышка.

В то время, когда катер морской охраны застиг браконьера на месте преступления, Серебрянка была уже далеко.

7

Если бы кто-то увидел её спустя год, вряд ли узнал бы в большущей красавице рыбине бывшую Серебрянку. Это была уже настоящая сёмга, Сёмужка, как её величают поморы и как будем мы теперь называть. Окраска Сёмужки сделалась ещё серебристее, движения — более плавными и уверенными. Теперь она не стала бы пялиться из любопытства на диковинную морскую звезду или на глубоководную рыбу с фонариками, всплывшую на поверхность, — в море много чудес, но глазеть на них некогда: зазеваешься — тут и вынырнет рядом акула или тюлень. Врагов в море хватает. Зато какая вокруг свобода! Какой простор на все стороны света!

И ещё — сельдь, сельдь, сельдь! Неисчислимые косяки сельди, которые скапливались в узких с каменными стенами-берегами заливах будто специально для того, чтобы её тоннами брали рыбачьи траулеры, выклёвывали из сетей прожорливые чайки, поедали другие рыбы…

Наша Сёмужка тоже не терялась: ведь не зря она, пренебрегая опасностями, проделала тысячекилометровый путь к берегам Норвегии. Нет, не зря, не напрасно! И она неутомимо работала челюстями, налетала, вонзала острые зубы, потрошила и глотала добычу. Отъедалась за всю жизнь. Да и вкусна же была норвежская селёдочка!..

К прежней сёмужьей стае, вполовину убавившейся за дальнюю дорогу, примыкали другие, тоже значительно поредевшие, и таким образом стая опять была многочисленной и сильной, совершала набеги на соседние и отдалённые фиорды — сто километров для сёмги пустяк. Сёмужка плыла теперь во главе стаи.

Весна на Севере совпадает с началом светлого времени года, с незакатным днём. Казалось бы, наслаждайся, жируй себе круглые сутки — к чему искать лучшего места под солнцем! Но уже на другую весну какое-то смутное беспокойство, что-то вроде тоски по далёкой, родной стороне, начинает всё чаще, всё неотступнее преследовать сёмг. Они замедляют продвижение вперёд, тревожно принюхиваются к воде, замирают на месте, будто о чём-то задумываются или вспоминают. Наконец, вожаки решительно поворачивают к дому.

Трудно сказать, что при этом творилось с Сёмужкой — всё последнее время ей казалось, что внутри неё завязываются крошечные живые узелки, много-много, и она оберегала их, словно хрупкую драгоценность, от всевозможных опасностей. Нет,

наша Сёмужка ещё не догадывалась, что должна будет сделаться матерью, да и не так скоро это произойдёт, но в её памяти вдруг оживало далёкое — милая речка, журчание прозрачных струй, обтекающих круглые камни, неподвижные плёсы.

«Ах, если бы снова окунуться в ту же самую ласковую, прекрасную воду и, может быть, снова почувствовать себя Серебрянкой, Пестряткой!.. Неужели это возможно?..» Она с силой ударяла хвостом, стряхивала с себя мечтательное оцепенение, но вскоре снова то же состояние овладевало ею. И только тогда успокоилась, когда стая вышла в открытое море, взяла направление к родным берегам. Прощайте, каменные громады скал, прощайте, мглистые скандинавские фиорды, — вы были для нас добрым приютом!

В Баренцевом море, как обычно, штормило, но теперь Сёмужке это было не страшно: она привыкла к штормам, а движение к дому придавало новые силы. Гораздо больше её беспокоили мелкие рачки-паразиты, морские клопы, во множестве присосавшиеся к телу, — от них невозможно было избавиться, как она ни старалась: ни стремительно уходя в глубину и затем так же стремительно поднимаясь, ни в толпе других рыб, о которых тёрлась боками. Она плыла на предельной скорости, и рачки как будто от неё отставали, приостанавливалась — тело по-прежнему чесалось, зудело. Но и этому — догадывалась она — будет конец: стоит лишь погрузиться в пресную воду.

А скорость Сёмужка развивала не малую: проплывала за сутки километров шестьдесят, иной раз и больше. Скоро, скоро она порезвится, поплещется в родной реке!

И хотя она находилась во главе сёмужьей стаи, а поэтому сама должна была отыскивать путь, это оказалось нетрудно: стоило лишь отклониться от верного курса, как изнутри будто включался какой-то дрожащий «моторчик» и ни в какую не желал угомониться; стоило взять правильное направление, и «моторчик» смолкал.

Неужели здесь, в безбрежном море воды, извивалась, змеилась речная ниточка-струйка? Уж не эта ли «змейка» вела её за собой?..

В горле Белого моря встретилось стадо тюленей, отдыхавших на льдине.

Сёмужка вовремя увела косяк в глубину, и тюленям ничего не досталось.

Затем были ставные рыбачьи сети — на якорях, с привязанными сверху стеклянными поплавками-шарами. Сёмужка издали заметила верёвки с запутавшейся в них травой и

неподвижно уснувшими рыбами — заметила и обошла стороной.

Теперь сёмги плыли вдоль берега. Их оставалось всё меньше: многие сёмги в пути отделялись от стаи, друг за другом уходили в свои заповедные реки. У Сёмужки тоже была такая река — та, которая впереди и которая всегда была с ней, в её памяти. Доплывёт и она до своей реки.

Уже несколько месяцев она находилась в пути. И уже тяжелила икра, распирая бока. Наконец и наша Сёмужка вступила в речное устье, из которого вышла несколько лет назад. Что это было за чудо — вновь услышать журчание воды по камешкам, освежиться с дороги в тугой родниковой струе, потереться брюхом о дно! Что за наслаждение — подпрыгнуть над зеркальной поверхностью плёса, распугивая дремлющих обитателей зарослей — всех этих ершей, окуньков и щук. Нет, не станет она за ними охотиться, ей это не нужно. Она приплыла сюда для другого…

Сёмужка поднималась вверх по реке, приглядываясь к знакомым местам. Каким маленьким всё теперь здесь казалось — узкие берега, мелкие плёсы, нестрашные перекаты, — и всё-таки это была её родина! Миновала один порог и второй — тоже маленькие. Сверху слышался несмолкающий гул падуна. Заглянула за поворот — что это? Поперёк реки громоздилась отвесная стена, которой не было раньше. Разве Сёмужка знала, что люди в её отсутствие выстроят здесь плотину! Ну, а если бы даже знала?

Вода бросалась вниз с водосброса, с высоты трёхэтажного дома, ярилась, пенилась. Даже самая сильная рыба ни за что не одолела бы эту стену. Правда, у берега, где стена кончалась, оставался какой-то неширокий проход — это и был канал. Сёмужка видела, как туда поворачивали другие рыбы. Но сама она там никогда не плыла… Что же Сёмужке делать? Ей ведь надо вверх по реке. Нет, она не пойдёт в незнакомое русло, но и не отступит так просто — отыщет на дне подходящую яму и в ней будет ждать…

Яма была очень старая, хотя и глубокая, заиленная, с покатыми сглаженными краями. Сёмужка приготовилась к долгой отсидке в ней. Она не заметила, как подкрался коварный сак, и только тогда опомнилась, когда очутилась в прочных сетях.

Как обречённо билась она в саке, вытащенная из воды! Выгибалась дугой, рвалась назад, в реку!

— Скорее в садок! — крикнул один рыбовод другому, который вытащил сёмгу. — Напугалась, пузатая, — сама себя поколотит…

Вдвоём они быстро и бережно переложили сёмгу в

просторный дощатый ящик с водой.

Теперь рыбоводный завод станет родиной для её мальков… Так закончилось путешествие Сёмужки.

45 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

notes

Примечания

1

Сеголетками называют совсем ещё юных мальков — сего лета рождения.